



Андрей Курпатов

ДНЕВНИК
"Канатного плясуна"

PSYCHOSOPHIA

Андрей Владимирович Курпатов Дневник «канатного плясуна»

Авторский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2772355

Аннотация

Текст «Дневника» не пророчество, не предостережение, это предложение выхода, и только. «Дневник» структурно идентичен исходному предмету подражания – «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Но содержание и суть текста кажутся обратными, вывернутыми наизнанку. Это постмодерн, полемика без полемики, утверждение без опровержения...

Книга будет интересна философам, психологам, искусствоведам, педагогам, широкому кругу читателей.

Содержание

Предисловие «Канатного плясуна»	4
I	4
II	5
III	7
IV	10
V	13
VI	15
VII	16
VIII	17
IX	19
X	21
Часть первая	22
О превращениях духа	22
О кафедрах добродетели	26
О мечтающих о другом мире	29
О презирающих тело	32
О радостях и страстях	36
О бледном преступнике	39
О чтении и письме	44
О дереве на горе	47
О проповедниках смерти	50
О войне и воинах	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Андрей Курпатов

Дневник «Канатного плясуна»

Предисловие «Канатного плясуна»

I

Привет! Я канатный плясун. Впрочем, нет. Не совсем так... По своей специальности я самый обычный, рядовой, можно сказать, врач-психотерапевт, а не акробат и не самоубийца. Но появился у меня внезапно новый, странный, загадочный даже знакомый, назвал меня «канатным плясуном», и я почему-то ему поверил.

А, ведь, ему и нельзя не верить, он не просто убедителен – он прост. Рядом с ним я чувствую себя малым ребенком – доверчивым, в меру глупым, замороженным и благодарным. Этим счастьем и в детстве-то не особенно балуют, а тут бери – не хочу, и оплаты не попросят.

Если сказать, что он к себе располагает, так это значит ничего не сказать. Он потрясающий! О, если бы вы могли его видеть... Представьте себе: перс с огромными карими глазами, атлетическая фигура и улыбка, способная ободрить даже самую смятенную душу.

Он серьезен, даже строг временами, но при этом во всех его жестах, во взгляде, в голосе сквозит удивительная нежность. Его движения и статические позы завораживают своей внутренней силой, а взгляд, словно бездна – манит, кружит голову, окрыляет.

Его слова, каждое его слово – весомо, осмысленно, точно направлено в цель. Но он не заискивает, не пытается объяснять, не притормаживает на поворотах, он говорит ровно столько, сколько может быть сказано.

Я бы слушал его и слушал, вечность бы слушал, не прерываясь ни на секунду! Да вот только он сам время от времени замолкает внезапно и словно пропадает, уходит куда-то. Что таится в этом молчании? Что?.. Я теряюсь, я заморожен.

А может быть, я просто сошел с ума? По крайней мере, «критики» к своему состоянию у меня нет. Впрочем... Так или иначе, но я решил делать дневниковые записи (занятие для меня необычное). Конечно, глупо.

Надеюсь все же, что в этом есть хоть какой-нибудь смысл. Но вероятнее всего, эти тексты так и останутся тривиальным повествованием очередного безумца, ведь записать переживание невозможно (тут нужен опыт, а не душещипательные беседы), но сейчас почему-то очень хочется.

Уже второй день он говорит со мной длинными монологами, их я решил записывать дословно, насколько это возможно. Но прежде, прежде я хочу рассказать, как все это началось. А то и правда примете меня за безумца! Нет, нет, ставить такой диагноз – это моя работа! Шучу. Поступайте как знаете. Канатному плясуну не пристало хорохориться, а то, неровен час, потеряешь равновесие – и привет. Ну, ладно.

Однако, все по порядку. Так вот, была суббота...

II

В отношениях, мне кажется, самое главное – чуткость, чуткость и благодарность, какими бы они ни были: дружба, любовный роман, знакомство, соседство – любые, главное чуткость и благодарность.

Недавно у меня появился такой друг. Когда-то он был моим пациентом, а теперь и сам выступил в роли доктора: он подарил мне прекрасный дорожный велосипед с двумя десятками скоростей, в надежде, что я все-таки примусь за свое не бог весть какое здоровье и буду тренировать ослабевшие после болезни ноги.

По правде сказать, я и не думал, что может найтись хоть какое-то средство, способное оторвать меня от письменного стола и заставить оздоравливаться. А вот ведь нашлось! Не велосипед, конечно, а забота другого о тебе.

Нужность себя мы узнаем через нужность себя для другого (однако собственную «ненужность» мы создаем себе сами). Мы нужны друг другу, это важно, остальное – блеф. Кто-то скажет, что, мол, все это «телячьи нежности» и что человек должен быть «самодостаточен». Дураки так думают, несчастные дураки.

Так вот, субботним вечером я в очередной раз миновал городскую черту на своем красном, как спелая вишня, «Трек,е» и помчался на дачу. Мелькали родные сердцу пейзажи, гремели машины, а я крутил педали и думал...

Один очень, может быть, даже чересчур, знаменитый психотерапевт сказал как-то: «Много званых, да мало избранных». Весьма, надо признать, непростая фраза. Избранные – это значит выбранные.

Но кого выберут? Того, кто считает себя слабым и ничтожным, или же того, кто считает себя сильным и способным на всё и вся? Иначе: того, кто ничто, или того, кто всё?

Почему-то большинство склоняется к мнению, что первого, тогда как сами они, разумеется, выбрали бы второго. Тут читается некая двойная игра, двойной стандарт, а это, право, никуда не годится.

Впрочем, нельзя не заметить и еще один немаловажный нюанс: сильный – это не значит невменяемый. Но для большинства именно так и значит, что столь же странно, сколь и нелепо.

Сильный, мне кажется, оттого и силен, что адекватен, а потому он более вменяем, чем кто бы то ни было. Мы должны быть сильными, но мы должны быть и чуткими, в противном случае вся наша сила – что мыльный пузырь.

Парадокс, видимо, в том-то и состоит: для того, чтобы тебя выбрали, прежде всего ты должен сам себя выбрать. Ты должен стать сильным, тогда ты и будешь нужен. А до тех пор претендовать на собственную «нужность», по меньшей мере, наглость!

Однако каждому из нас очень бы хотелось быть нужным, но при этом без всяких усилий с нашей стороны. Мы хотим быть нужными и, одновременно, чтобы нас оберегали, хранили, как дорогое сокровище, заботились о нас, словно о недееспособных, и, разумеется, боготворили по возможности. В результате получается, как и сказано: много званых, да мало избранных.

Да, мы заложники двусмысленности. Мы ничего не можем признать до конца: ни свою силу, ни свою слабость. Гонимые вездливым и бессмысленным страхом, мы постоянно ищем себе оправданий, ищем и, конечно же, находим.

Впрочем, наш суетливый, беспокойный и увертливый ум, который вечно, что называется, «себе на уме», способен и на большее. Став государством в государстве, он навязывает нам свою ущербную политику: он заставляет нас считать себя исключительными и при этом

не перестает вынуждать своего носителя уповать на признание, поддержку и тому подобные глупости.

Но кто же, скажите на милость, может признать нашу исключительность, если мы настолько исключительны, что понять нас с нашей исключительностью никому не под силу? В результате, окруженные людьми, мы тяготимся одиночеством. Стоит ли этому удивляться, ведь в результате всех этих замысловатых манипуляций мы начинаем бояться самих себя.

Мы безумны, но мы боимся всего, чего угодно, только не своего безумия. И боимся смертельно: «Что подумают другие?», «Как это будет выглядеть?», «Правильно ли я поступаю?», «Поймут ли меня?», «Оценят ли?», «Не обманут ли?», «Не решают ли они свои проблемы за мой счет?», «Нужен ли я?», «Не бросят ли?», «Будут ли меня любить так же, как люблю я?», «Сколько мне осталось жить и что со мной будет после смерти?», «Не будет ли мне больно?», «А зачем я живу?», «А справлюсь ли я?», «А если я оскандаюсь, сойду с ума, расплачусь?», «А что если все это бессмысленно?», «А что если я заблуждаюсь?», «И зачем это все?!».

Вот дурацкие вопросы! Их безысходность повергает человека в тоску, и он бежит в никуда, бежит без оглядки, бежит, судорожно перебирая ногами. И вот в какой-то момент ему уже кажется, что и нет никаких вопросов. Однако же, как только мелкая рябь пойдет по воде, наши страхи снова, с еще большим остервенением поднимают свои плоские головы и шипят, словно болотные гады. Но о чем они? Что кроется за нашими страхами? Чего мы боимся на самом деле?

Быть самими собой и позволить другому быть другим – вот две вещи, которые наполняют нас страхом. Нам кажется, что быть собой – это быть не таким, как все, или совсем не таким, а значит, изгоем и пр., и пр., и вытекающие отсюда последствия. Таково наше величайшее заблуждение, которое по глупости его даже при желании не разъяснишь разумно.

Конечно, мы такие, как все, мы ведь люди, значит, как говорится, ничто (именно – *ничто!*) человеческое нам не чуждо, но, с другой стороны, каждый из нас проявляет это «человеческое» по-своему, так что вот вам и бездна искомых отличий.

В двух этих страхах – быть самим собой и позволить другому быть другим – заключен, в сущности, один: быть, оказаться или казаться слабым. Но ведь именно страх и ослабляет. Значит, мы *уже* слабы, так чего же нам теперь бояться? Нельзя бояться, что слабость заявит о себе, если она уже состоялась. Поздно теперь предохраняться и глупо хорохориться.

Слабость у нас не в почете. Нам говорят: «Будьте сильными!» И, наверное, это правильно. Но что значит «быть сильным»? Вот она – великая языковая игра «разумного человечества»! Потворствовать своему страху – это значит быть сильным, а презреть все свои опасения, перестать защищаться, переступить раскаленную грань одиночества – это, по нашему, слабость! Сумасшедший дом...

А может быть, люди уже умерли?.. По крайней мере, все признаки жизни отчаянно отдают мертвечиной.

Сумасшедший одинок: он сбежал от мира в искусственные, но зато искусно обустроенные «адавы кущи» своего разума, мысли, фантазии, бреда, принимаемого за логическую строгость. Мы все таковы, и я таков. Это признание, но оно, конечно, только первый шаг, возможно, причем самый незначительный из предстоящих. А сколько таких шагов еще будет? Будут ли? Что дальше? Какой следующий?

Вот об этом (или примерно об этом) я и думал в тот вечер, миновав городскую черту на своем красном, как спелая вишня, «Трек,е».

III

Велосипедные шины трудолюбиво шипели у меня под ногами, асфальт постепенно сменился проселочной дорогой, потом та и вовсе обратилась узкой лесной тропинкой. А я все ехал и ехал, петляя между деревьями.

«Ловкости» моей можно позавидовать (слон в посудной лавке и то, наверное, более грациозен), так что, в конце концов, выехав, по случаю, на песчаный берег какой-то незнакомой мне речушки, с управлением я все же так и не справился, уткнувшись передним колесом велосипеда в одинокую осину. Падение было неизбежным, и оно состоялось. «Не пытайтесь избежать неизбежного», – говорю я иногда своим пациентам, а теперь и сам воспользовался собственной рекомендацией.

– Блеск! – пропел чей-то почти безразличный бархатный голос. – Не смущайтесь неловкости. Проворность – сестра плутовства.

Я обернулся. На травянистом склоне, безмятежно любуясь закатом, сидел рослый мужчина лет, наверное, тридцати.

– Впрочем, плут по-своему тоже обаятелен, – продолжил незнакомец, не поднимая на меня глаз.

Черные, как смоль, волосы, вьющиеся подобно металлической стружке, спадали на его широкие плечи, обрамляя классическое по красоте лицо. Взгляд его был тих и даже печален. Хотя, может быть, печаль мне тогда только привиделась, не знаю.

Меня мгновенно сковало смущение, я неловко поднялся, отряхнулся и что-то буркнул в ответ. Он пристально посмотрел на меня и улыбнулся.

– Вы не ушиблись?

Хотя он и выглядел ироничным, в его вопросе не было и тени издевки, что подкупило меня сразу, окончательно и, как выяснилось потом, бесповоротно. Просто же меня подкупить!

– Есть малость, – признался я, все еще продолжая отчаянно смущаться своей дюжей неловкости. – Пустяки.

– Кто вы?

– Велосипедист-любитель, – я отшутился, но не тут-то было.

– Похвально, но не вполне определенно, – спокойно парировал мой собеседник.

– Человек, – ответил я сдержанно, словно зондируя почву.

– Определенно, но слишком общо.

Кажется, мой очередной ответ, как, впрочем, и предыдущий, зиял полным отсутствием сообразительности. Незнакомец явно желал услышать что-то другое, лежащее на самой поверхности.

– Тогда Андрей, – я снова попытал счастья, заинтригованный этим двусмысленным и необъявленным поединком.

Он странно посмотрел на меня.

– Значит, ловец, – констатировал незнакомец и продолжил свой допрос, теперь уже, как мне показалось, с пристрастием. – Дальше...

– Психотерапевт, если вас *это* интересует, – сдался я наконец.

– А, «канатный плясун»! – радостно воскликнул незнакомец и впервые посмотрел мне прямо в глаза.

Я «попал»! Но куда?

– В каком смысле? – я был несколько удивлен подобным выводом, не говоря уже о той бурной реакции, которую побудило указание моей профессии.

Он улыбнулся, и как-то очень странно. Он выглядел и вел себя так, словно бы прежде мы были знакомы, а я его не узнаю. Казалось, он ждал, что вот-вот и я его признаю. Но, убей бог, я не мог его вспомнить! Я снова напрягся, как дилетант на дипломатическом приеме.

– Мы знакомы? – неуверенно поинтересовался я, подходя к незнакомцу чуть ближе.

– А то нет?! – он добродушно рассмеялся.

Озадаченный, я подсел к нему рядом на теплый травянистый склон и бесцельно уставился в раскрашенное пунцовым закатом небо.

– Да? – удивился я. – Странно... А почему я «канатный плясун»?

– Помнишь, – он говорил медленно, – солнечный воскресный день, базарная площадь, тонкая проволока, натянутая между двумя башнями, и толпа беснующихся зевак, замерших от ужаса и хищного сладострастия?..

Нельзя сказать, чтобы я помнил, будто бы это действительно было со мной, но произведение я, кажется, узнал.

– Ницше?

– Да, мы были дружны с ним, – тихо, бесчувственно, словно пустое эхо, ответил мне незнакомец.

Если бы сейчас он смотрел не на закат, а на своего собеседника, то бишь на меня, то, вероятнее всего, стал бы свидетелем крайнего изумления, отразившегося на его, то бишь на моем, лице. Признаться, я видел сумасшедших, которые не только «дружили» с Ницше, но даже «состояли» с ним в близкородственных связях, но то были сумасшедшие... К счастью, *мой* собеседник смотрел на закат.

– Ну что? Вспомнил? – тихо продолжил он после паузы.

– Как я открыл маленькую дверцу башни и встал на проволоку?

Он радостно посмотрел на меня.

– Не хочется вас расстраивать, – я пытался быть деликатным, – но так, чтобы это было именно *со мной*, то, кажется, нет. Нет.

– Ну, конечно, ты ведь умер тогда, – незнакомец произнес эту фразу с уверенностью, которая слишком контрастировала с очевидной парадоксальностью данного утверждения. – Ничего, вспомнишь, – он снова помедлил, а затем продолжил, уже почти шепотом: – Я тебя искал, канатный плясун...

Он был смущен, его большие миндалевидные глаза лучились, и я непроизвольно улыбнулся ему в ответ. Казалось, теперь я его узнал. Но где мы с ним виделись? Что со мной происходит? Может быть, я только что получил сотрясение мозга, столкнувшись с этой благословенной осиной, и теперь галлюцинирую в забвении? Просто какая-то «Алиса в стране чудес»! Но если это и был сон, то, право, мне не хотелось просыпаться.

– Ты прости меня, – тихо произнес незнакомец, в котором я уже (сумасшедший!) подозревал Заратустру. – Я оставил тебя там, в дупле. Сглупил, было дело. Я сказал, что не буду больше разговаривать с мертвыми. Я не знал тогда, что нет смерти в смерти, что смерть только в жизни – смерть. Прости. Я искал смерти, оттого, видно, и думал, что она есть. Прости, ладно?

– Не бери в голову, Зар, – вдруг сказал я и тут же испугался собственных слов: казалось, что это не я, но кто-то во мне ответил его смущению.

– Спасибо. Я знал, что ты меня простишь, – и кажется, что тяжелый груз упал в этот миг с его плеч. Всем корпусом он повернулся ко мне. – Мы ведь друзья? – и отчаянная надежда на мое «да» звучала в этом вопросе.

– Еще бы!

– Ты скучал обо мне? – и этот гигант залился краской.

– Скучал, только я не знал, что о тебе, но скучал. Ты простишь меня?

– Вот тоже скажешь! – он засмеялся. – Ты ведь умер тогда.

В голове моей воцарилась ужасная терминологическая путаница. Я так и не мог понять, что думает мой собеседник: есть смерть или же ее все-таки нет. И если ее нет, то как тогда получилось, что я все-таки «умер». Но, кажется, Заратустру эта проблема совершенно не беспокоила. Может быть, это и не было проблемой?

Я растерялся, но усилием воли все-таки воздержался от дополнительных расспросов. Он был настолько спокоен, настолько доволен, что я со своим терминологическим занудством был бы совсем некстати. Да и какая ерунда, право! Умер, не умер – один черт!

– А теперь как? Произвожу впечатление живого? – поинтересовался я. – Дышится, по крайней мере, легко.

– И только-то? – спросил он с наигранным укором.

– Нет.

Мы молчали какое-то время.

– Ты устал? – он посмотрел на меня с озабоченностью (или заботой?).

– Есть малость. Ерунда, – я пытался выглядеть равнодушным, и мне не хотелось прерывать этот странный, все более завораживающий меня разговор из-за слабости, нахлынувшей изнутри.

– Усталый должен отдыхать, а не искать новых ощущений, – строго сказал Заратустра, потом помедлил и продолжил как-то отстраненно: – Кожа у людей притупилась, онемела. Путь бесчувственного – между убийством и суицидом. Не надо больше крови, Андрей, ни своей, ни чужой, хватит. Иллюзия ничего не стоит. Отдохни, дышится ведь легко...

Заратустра окидывал взглядом пунцовое небо, а я смотрел на него, замороженный и потрясенный. Неизъяснимое волнение охватило меня, эта встреча – нечто очень важное в моей жизни. Но что мне предстояло пережить с этим человеком? Человеком ли? Сверхчеловеком?

IV

Река несла мимо нас свои темные воды, на том берегу виднелась черная полоска соснового леса, а погружающееся в небытие солнце окрасило горизонт розовой пеленой равных облаков.

«Человек не умеет быть человеком, – продолжал Заратустра. – Он ведь даже не может говорить с другим человеком напрямую, без соглядатаев и посредников. Он подобно шпиону подслушивает свой собственный разговор. В присутствии шпиона нельзя не лгать, особенно если страшно. Не умеете вы говорить друг с другом глаза в глаза.

Видишь тот берег? Чтобы перейти туда, тебе не нужен мост, тебе просто не нужно бояться. Ничто вам не угрожает, только страх ваш рисует опасность. Столь же мнима опасность, сколь и страх, ее порождающий.

Но появился страх раньше самосознания, вот поэтому доверяет человек страху, а самому Себе – нет. Страх породил самосознание, простое породило сложное. Это нормально. Человек произошел от червя, стоит ли стыдиться своей родословной? Сложное всегда следует за простым.

Теперь человек стоит в очереди к Себе самому, но он стоит в очереди последним, он стоит за червем. Так он ничего не дожидается. Скорее уж действительно станет червь человеком!

Но ожидание ожиданию – рознь, а покой – не бездействие. Бездействие не может быть покоем, ведь жизнь продолжается. Но куда идти, если незачем. Все уже есть в человеке, все предусмотрено, но есть ли он Сам?

Простое понять труднее всего, и создано было сложное, чтобы понять простое. Нужно сложное, но нужно оно для простого, а не само по себе. Сложное – лишь инструмент, а простое – оно и есть сама жизнь. Кто поймет роль сложного и место простого, тот позволит жизни своей жить.

Не люблю я суеты человеческой. Пытается суетливый попасть в струю, но разве можно попасть в себя Самого? Поток жизни – не жизнь, но человек, и не может он попасть в Себя самого, а потому не люблю я человеческой суеты.

Не люблю я человеческого тщеславия. Тщеславному есть что терять. Он будет бояться, даже если предметом его тщеславия будет бесстрашие. Я не люблю выигрыш проигрыша.

Не люблю я человеческих оправданий. Поиск причины – это поиск конца, но не начала. Всегда оправдать можно собственное бездействие, зная причину. Но любой конец иллюзорен, однако реален он для имеющего оправдание. Можно стать жертвой, даже она если никому не нужна. Я не люблю оправданий глупости.

Не люблю я человеческих знаний. Один норовит знанием своим учить другого, но кто же голоден до чужого знания? Знание человеческое – словно яйцо без семени, коли не будет оно съедено, то протухнет, и потому нужно знающему скормить свое знание. А вырасти из яйца этого ничего не вырастет, ибо не для того рождалось оно, чтобы жить, но для того только, чтобы умереть. Не люблю я знаний, которыми учат.

Не люблю я созидания человеческого. Ибо какая разница, что от трудов ваших меняется форма вещества, если не меняется вещество? Иллюзия созидания обманывает созидającego. И когда строят, разрушая, то не строят, а рушат. И когда созидают ради созидания, то созидают смерть. Созидание разрушения ради я не люблю.

Не люблю я добродетелей человеческих. Ибо то, что от сердца идет, не имеет имени, а то, что от разума, – смысла. Нет, не заслуга добродетель ваша, но могильщик, отпевающий искренность. Знайте же, что не выдают медали за искренность, но добродетель ваша в орденках, словно в латах цинковых. И подобны коросте гнойной эти латы, что покрывают собой

сердце ваше, и иссохнет оно от заботы такой и вас погубит. Я же не почитаю почитаемых добродетелей.

И человеческой торговли духом не люблю я. И не важна цель, коей возбуждается дух ваш тщедушный, ибо, от цели зависимый, перестает он быть духом. Определяемым становится он из определяющего, если выставлен на продажу. Но не уместен торг, если товар подпорчен, да и сам торг – обесценивает. Разменяете дух – душок получите. А разменной монеты духа человеческого я не люблю.

Не люблю я стремления человеческого делать свою судьбу. Карьера – то участь раба и дорога смерти. Нужно жить, и тогда необходимое дано будет, а более необходимого даже глупцу не может быть нужно. Ненужное востребовано не будет, невостребованное сгниет и погубит необходимое гниением своим. Жизнь не более того, что она есть, но не может ее быть мало. Судьба же – довесок к жизни вашей, довесок ненужный и тлетворный для жизни. Не люблю я стремлений человеческих, ибо дурно от них пахнет.

Не люблю я стремления человеческого быть хорошим. Желание это от неудовлетворенности, но когда же недостаточность рождала радость? А если нет в человеке радости, как быть хорошим ему? Стремящийся быть хорошим для других пытается быть *каким-то*, но не самим Собой, а значит, и не быть вовсе. Если же тебя нет, то что в тебе проку? Стремящийся быть хорошим не может хорошим быть, ибо его Самого нет. И потому стремление это – ложь, а я не люблю лжи человеческой.

Не люблю я служения человеческого, ибо ждет служащий за службу свою награды. Но разве жизнь ваша – не награда вам? А если нет, то, верно, и не живете вы! Или же думаете, что награда за служение ваше – это похороны за государственный счет под выстрелы холостые? Так знайте же, что служите вы смерти служа! Только два пути есть, что известны мне: ты или не жил вовсе, или награждал жизнью. Не люблю я иллюзий человеческих, а служенье из их числа.

Не люблю я сомнений человеческих, ибо сомневающийся неустойчив и зыбок. Какая разница, что все сделал ты правильно, если одолевают тебя сомнения? Помни же, что сомнение разрушает деяние. И знай же, что не сделал ты ничего, если полон сомнения. Жизнь не может быть относительной, в таком качестве ее нет и не может быть. Если нечто есть, то нельзя сомневаться в этом. Не любит сомневающийся жизни, а я не люблю человеческого сомнения.

Не люблю я стремление человеческое делать добро. Если добро, что сделал ты, принесло радость тебе – это добро для тебя, а потому эгоизм. Признайся же в этом и не лги себе никогда! А если добро твое – добро, но нерадостно, то разве же это добро? Тот, кто хочет делать добро, тот следует идее добра, но не добру. И потому растит он злобу жадную в сердце своем, и станет она мезью черной, и погубит его. И не важно, кому будет мстить он – себе ли, другим, ибо сам он – иллюзии каторжник, сам он несчастен. Тот же, кто добр, добрым быть не желая, – тот эгоист жизни, тот и пестует жизнь. Но стремящихся делать добро не люблю я.

Не люблю я и человеческих предпочтений, ибо одно не лучше другого, но *другое*, и у каждого своя правда. Кто не видит этого – тот слеп. А как слепому судить и оказывать предпочтение? Оказывая одному предпочтение, ты в правде отказываешь другому, а значит – лжешь ты, оказывая предпочтение. Вот почему предпочтение всегда лживо! И если оказал ты в одном предпочтение, то показал этим, что в остальном слаб. Признай же слабость свою и не бойся быть слабым! Делай, что можешь, но не думай, что оказываешь тем предпочтение, которое не люблю я, как и все человеческое.

Не люблю я высокомерия человеческого, ибо высокомерие всякое – суть презрение, жизни выказанное. Тот же, кто данного ему не ценит, – тот предает. Не является благодарностью покорностью, а покорность не бывает никогда благодарной, потому-то не люблю я

и самобичевания человеческого. Неспособен высокомерный разглядеть собственной слабости, этим претендует на абсолютную силу – так и сядет он в лужу. А уничижающийся даже того не сделает, что в силах его. И не знаю я, кто лучше из этих двух, ведь не важно, *почему* предал ты жизнь. Ты сделал это!

Не люблю я самолюбования человеческого. Глупо гордиться ростом своим или цветом волос – благодари за это родителей, ибо это их гордость. Если же то, что постиг ты, – мудрость жизни, то это *ее* мудрость. Так чем же ты похваляешься? И даже то, что есть ты, – не твое, ибо придет время и будет все отнято, и не успеешь ты наиграться. Радуйся же, полоумный Нарцисс, вырвут с корнем тебя красотой твоей восхищенные! Любующийся, можешь ты любоваться лишь собственной смертью! Дурной же вкус у того, кто смертью своей любит вместо жизни, а я потому не люблю человеческого самолюбования.

Не люблю я к свободе стремление человеческое, ибо не знаете вы, к чему стремитесь. Как можете вы стремиться, цели своей не ведая, и от чего хотите свободы? Не от жизни ли хотите освободиться? Так уже от нее вы свободны, стремящиеся, ибо умерли! Или хотите вы гарантий себе безнаказанности?! О, как же несвободны рабы, стремящиеся к свободе, полные страха! Нет, не будет вам свободы такой! Никогда не будет! И какое дело вам до свободы, безумные, если страшитесь вы быть свободными? Зачем права вам, раболепные, если вы страшитесь быть правыми? Страх ваш – вот цепи ваши, а свобода подлинная – это свобода от страха. Но ждете вы, что дадут вам, а взять можете только сами. Смешно мне стремление ваше к свободе! Только мертвецы и стремятся к свободе вашей, ибо не знают они жизни, а я не люблю это стремление.

Но более всего не люблю я соль человеческого – отрицание человеком самого Себя! Как случилось, что, будучи эгоистами, так ненавидите вы эгоизм? Разве же не следует опереться на то, что имеешь, прежде движения? На что же еще полагаться, если не на то, что ты есть? Так кого же пытаетесь вы обмануть?

Быть эгоистом не значит лгать, но значит быть честным с самим С собой. Ибо кто, как не эгоист, ощущает Себя самого. Кто, если не эгоист, может быть самим С собой для другого, позволив тем ему быть Другим? Знай же, что, отрицая Себя самого, ты отрицаешь Другого! Ты не только мертвец, но и убийца!

Лишь иллюзия одна – достойна твоего отрицания. А человек, отрицающий Себя самого, отрицает Жизнь, и он мертв, а потому не человек он, а труп. Я готов говорить с умершим, но я не могу говорить с живым трупом! Отрицающий Себя самого – отрицает меня, и не могу я говорить с ним, ибо меня нет для него. Но я хочу говорить с человеком! Да, я не люблю человеческое, но я дорожу превыше всего *человеком*!

Человеческое есть нечто, что должно быть побеждено. Но что сделали вы, дабы победить свое рабство?»

V

Словно медный язык монастырского колокола бился в эти минуты о чугунный обод, и он смолк вдруг, внезапно, замер в дрожащих руках звонаря... Заратустра медленно повернул ко мне голову. На его длинных, густых ресницах блеснула слеза, он глубоко вздохнул и после паузы прервал молчание:

– Желание быть сверхчеловеком, может быть, и похвально, не знаю... – он печально улыбнулся. – Но ведь никто не был еще *человеком*. Есть песня, да нет у певца ни слуха, ни голоса. Нельзя человеком быть в одиночку. Понимаешь? Не получается...

Сто лет был я окутан холодом сверхчеловеческого одиночества, сто лет. Я хотел быть сверхчеловеком, я стал им, я был им, я устал... Все это ровным счетом ничего не стоит.

Человек не может быть *один*, но будет он одинок, пока не станет самим Собой для Другого. Как сиять росе утренней, если не ласкает ее луч солнечный?

Как же просто быть самим Собой! Руку подай – и все. Но те, от кого ушел я сто лет назад, не могли именно этого. А я ведь принимал их за людей... Глупо, да? Зачем, мертвец, ты пришел ко мне? Хочешь ли ты теперь *жить*?

– Да, – ответил я сдавленным голосом.

И тут же испуганное сомнение пронзило меня изнутри: «Он мне не поверит!»

Заратустра улыбнулся:

– Не следи за собой, хватит шпионить. Я знаю, что ты хороший, знаю. Ну чего ты боишься? – его слова звучали, как шелест шелка, он смотрел мне прямо в глаза, улыбаясь своими глазами. – Что же ты? Не доверяешь себе, канатный плясун? Самому Себе, и не доверяешь... Плясун, я пришел с тем, чтобы ты мог *танцевать*. «Я поверил бы только в то божество, которое умело бы танцевать». Помнишь?

Заратустра тихо рассмеялся, снедая мое смущение.

– У меня не получится, – эти слова скользнули с губ моих сами по себе, словно один только выдох.

– Ну вот, можешь же не шпионить!

И в тот самый миг я впервые ощутил, что это значит «быть самим Собой для Другого». Но уже через сотую долю секунды мой «шпион» снова вернулся. Я смутился, кровь ударила мне в лицо, я затараторил:

– Зар, во мне есть все человеческое, что ты перечислил. Правда, не смейся! И стремление делать добро, и желание строить свою судьбу, меня душит стремление к знанию, свободе, черт бы ее побрал! Я оказываю предпочтение и сомневаюсь, да! Я стыжусь своего высокомерия, но оно есть, от этого никуда не деться. Я, наверное, испытываю самолюбование, наверное. И торгую духом, созидая. Я отрекаюсь от самого Себя – это точно. Прости, наверное, я не тот канатный плясун, которого ты ищешь, ты обознался.

И, выпалив все это, бог знает зачем, я испытал такую обиду, такое отчаяние... Я снова не верил себе, я не верил тому, что сам и говорил. Да, человеческого во мне с избытком, но я не мог позволить себе не быть «канатным плясуном» для моего Заратустры. Я боялся потерять его, я слишком долго его искал. Закусив губу, я пытался справиться с собственным противоречием – или быть честным, или быть настоящим.

– Ты пришел, – тихо ответил он моему молчанию, – значит, ты искал. Многие выходили на этот берег, но только ты заметил паромщика. Ты еще хочешь на тот берег?

– Сверхчеловеком?

– Я сказал: «на тот берег», а не «этажом выше»! – он почти шикнул на меня и сразу вслед за этим расхохотался.

– Ты знаешь, *как*?

– Тебе нужна чужая победа? Добыча и опыт – разные вещи.

Я почувствовал, что проявляю слабость, что хочу возложить свои заботы на его плечи. Мне стало стыдно, я снова смутился, почувствовал себя маленьким, и мой «шпион» вдруг снова исчез.

– Глупо, да?.. Надо самому...

– Я буду для тебя человеком, если ты позволишь.

– Я не должен сомневаться?

– И ты должен быть эгоистом!

– Я и есть эгоист, – сказал я, подумав.

– Нет, ты эгоист для людей, но еще не для самого Себя.

Я молчал.

VI

– Знаешь, почему я разглядел в тебе канатного плясуна? – спросил Заратустра после долгого молчания. – Ты развлекаешь толпу, но ты рискуешь не ради выгоды. Ты мечтаешь разглядеть в этой толпе одного – того, кто не будет посмеиваться над твоими прыжками и кубертатами, кто не будет прищелкивать языком, предвкушая скорую твою гибель. Ты ищешь того, кто будет бояться за тебя, чтобы ты мог не бояться. Ты ищешь человека, чтобы быть человеком. Зачем еще ты встал на канат?

Ты задумался над вопросами, которые уже не оставят тебя. Ты хочешь решить загадку человеческого. Я думаю, что тут нет решения. Это какая-то умственная жвачка. Порочные круги, морская пена. Пытаясь познать человеческое, ты пытаешься изучить свою тень. Но тень иллюзорна, это ложный аналог твоего отношения со Светом. Человеческое – паяц, что отвлекает тебя от *человека*, паяц, толкающий тебя в бездну смерти. Ты будешь познавать больше и больше, но так ты никогда ничего не узнаешь.

Человеческое – это нарождающаяся иллюзия. Она красочна, ею можно залюбоваться, но она не откроет тебе Света, заманив мишурой своего дешевого фейерверка. Ты должен узнать сокровенное, ты должен узнать *человека*. Ты уже встал на путь жизни, но ты еще не живешь. Ты канатный плясун, теперь ты можешь стать канатным висельником, а можешь *танцевать*. В этот раз я поспел раньше твоей смерти. Не покидай же меня! Жизнь еще теплится. Я не могу сказать тебе ничего, что бы ты хотел услышать, это никак невозможно. Но ты ведь все знаешь сам, не можешь не знать. Только не сомневайся, не ищи оправданий и не бойся!

Заратустра замолчал, а я не мог ему ответить. Мне предстояло или умереть, или, преодолев свой страх, обратить себя к жизни и жить. Он шевельнулся, его рука тихо коснулась моей руки.

VII

Темнело. Мы сидели на остывающей земле, Заратустра сжимал мою руку в своей и молчал, но вечерняя прохлада казалась мне парным молоком, мне было тепло изнутри. Мир распахнулся, подобно мягкому ватному одеялу. Мысли редко мерцали на периферии моего сознания, навязчивые шпионы куда-то исчезли, время остановилось, а величественное солнце замерло плавающим полукругом над линией горизонта.

Я улыбался и почему-то плакал, соленые капли неторопливо сбегали по горячим щекам и беззвучно падали на речной песок. Все вокруг жило, я чувствовал это – небо, солнце и эта река, несущая мимо нас свои воды, все жило и предлагало мне жизнь.

Сколько прошло времени, я не знаю, но вдруг крикнула птица, крикнула пронзительно, зычно, призывно. Заратустра встал и подошел к воде.

– Прощай, уходящее Солнце! – прокричал Заратустра. – Иди на покой. Как хорошо, когда не жжешь ты, но греешь! Не усердствуй же, люди сожгут себя сами. Погребальные костры уже приготовлены! Пиршество пламени не за горами!

Закат, грозный усмиритель огня, к тебе обращается Заратустра! Сохрани тепло моей нежности, сердце мое снова бьется! Прекрасный улов уготовил ты мне сегодня, великий кормчий!

Солнце, слышишь?! Заратустра поймал человека! Уходи же, не отбрасывай тени. Хватит теней! В мире теней я нашел Свет! Уйди, Солнце, дай мне налюбоваться Светом!

После этих слов Заратустра повернулся ко мне. Его стройное тело разрезало пополам диск уходящего солнца. И, словно поджидая этой секунды, хором многоголосым закричали птицы, зашелестели листья деревьев, терзаемые внезапным порывом ветра, а солнце, зависшее было над полоскою леса, упало за горизонт.

– Нам пора, канатный плясун, старик уже заждался нас в безумии своего одиночества!

VIII

Мы шли через лес, ветви хватали нас за руки, едва различимые во тьме корни ловили каждый наш шаг. Но вот слабый лунный свет обрисовал контуры покосившегося строения, жалкий огонек печально выглядывал из маленького окошка небольшой хижины.

Заратустра широко распахнул дверь, свет вылился из дома наружу, сопровождаемый раздраженным голосом:

– Опять ты, неугомонный? – сипло проворчал сухощавый старик, глядя куда-то в сторону. Впрочем, его водянистые глаза, казалось, и так отказывались видеть.

– Я не один, старик! Я с канатным плясуном. Помнишь его? – весело отвечал Заратустра, по-хозяйски проходя внутрь хижины и увлекая меня за собой.

– А мне-то что? Мертвец ты или живой – какая разница старику? Старику наплевать! – он пошамкал разохшимися губами и ворча, что, мол, хлеба и вина уйдет в два раза больше обычного, а он, дескать, на это не рассчитывал, удалился в кухню. По дороге он еще что-то бубнил в этом духе, кажется, относительно нашей легкомысленности.

Заратустра добродушно смеялся, провожая старика и взглядом, и каким-то забавным напутствием. Я же, напротив, отпустил печальную сентенцию:

– Если он прав, то стариков значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

– Когда ты так говоришь, то сам становишься стариком, – строго сказал Заратустра и направился в комнату.

– А как избежать такой старости? – спросил я, когда мы усаживались за большой деревянный стол.

– Никогда не спрашивай меня о том, что ведет в никуда, – угрюмо произнес мой наставник, – этих дорог слишком много, слишком. Путь в никуда – не движение, а топтание на месте. В лабиринте много тупиков, а у тебя лишь одна жизнь. Не трать жизнь на смерть, даже если за одну жизнь тебе готовы дать две тысячи смертей. Количество пустоты не переходит в иное качество.

– Зар, так жизнь все-таки одна?

– Одна, – протянул Заратустра, укладывая голову на вытянутые по поверхности стола руки.

Он удивлялся моей несообразительности, но, казалось, еще не разочаровался во мне полностью.

– Но, – я был в замешательстве, – ты говорил, что я умер тогда, а сейчас...

– Что? – устало протянул Заратустра, явно не собираясь отвечать на поставленный мною вопрос.

– А сейчас я живой! – обида застряла у меня в горле.

– И что тебе непонятно?

– Так одна?!

– Одна, – ничуть не сомневаясь, но растерявшись от моей упрямой настойчивости, подтвердил Заратустра.

Старик, проявив изрядную сердобольность, накрыл наконец на стол, разлив, правда, по дороге вино и роняя хлеб... Заратустра добродушно подтрунивал над стариком, а тот, смущаясь своей старческой неловкости, но сохраняя напыщенно грозный вид, отвечал ему тем же.

Мы поужинали. В сумерках плохо освещенной комнаты мой товарищ казался еще более загадочным. Я допивал вино в своей кружке, искоса поглядывая на Заратустру, и

мучился одним вопросом: это банальное нарушение мышления или что-то, в чем я до сих пор не разобрался?

– Истина невыразима, ее не разложишь по полочкам, – протяжно говорил Заратустра. – Разъять на элементы можно все, что угодно. Дурное дело не хитрое, братец. Дети искали душу, дети разрезали по частям лягушку. Кишки нашли, а жизнь ускользнула, – он посмотрел мне в глаза, проник в святая святых и протянул свою сильную руку моей великой растерянности. – А ты вот пойми, не членя. А? Зачем членить-то? Что, страшно тебе? Думаешь, по отдельности легче справиться? И сдалась тебе такая победа? Победа над трупом! Хорош, нечего сказать! Молодец! – тут голос его стал совсем тихим. – И не жалко тебе? Куда ты спешишь? А?.. Если можно понять, то нельзя будет не понять. А нельзя – так чего ж ты копыя ломаешь?

Потом мы вышли на крыльцо и удобно расположились на его старых, скрипучих ступеньках. Я достал табак из дорожной сумки, и мы закурили. Разговор складывался сам собою, мы то шутили, то вдруг замолкали и через какое-то время снова смеялись, как, бывает, смеются два мальчика. Тишина манящего сна подступала все ближе и ближе, обнимала и нежила нас, окутывая со всех сторон своей заботливой дремотой.

Приятное расслабление, сдобренное домашним вином, теплой усталостью растекалось по всему телу. А фривольные звезды подмигивали нашим ленивым взорам, привораживая своей холодной загадкой. В какой-то момент мне показалось, что они словно бы удаляются, желая увлечь за собой и нас. О наивные сладострастницы! Нам было слишком хорошо здесь, на Земле.

Странно, но темнота окружавшего леса не пугала, а напротив, обнадеживала и располагала, в нее хотелось войти. Я задремал, а проснулся уже только утром, на полатях, бережно укрытый медвежьей шкурой. Заратустры не было...

IX

Нежные лучи утреннего солнца проникали в комнату сквозь узкое прямоугольное окошко под самым потолком. Я потянулся, ощущая приятную сладость во всем своем отдохнувшем, но еще вполне спящем теле. Давно у меня не было такого глубокого и спокойного сна, наверное, с самого детства...

«Что было прошлым днем? Где я?», – и я вспомнил вчерашний вечер, моего нового друга, улыбнулся и перевернулся со спины на бок. Но в этот момент сильный испуг пронзил все мое существо: «Где он? Где?!» Я вскочил и, шлепая босыми ногами по холодному деревянному полу, поспешил к двери.

Солнце остановило меня на пороге. Его тепло растопило мое волнение, я замер. Лес словно сказочный, в ризе мягкого утреннего света, был добр и весел. Я медленно шел по единственной дорожке, ведущей от дома туда, где виднелась белая гладь реки.

Еще не достигнув берега, я услышал радостные крики, плеск воды и завораживающий смех.

По берегу на точно таком же, как у меня, но только синем «Трек,е», рисуя круги, что-то крича и смеясь, поднимая в воздух столпы водяной пыли, колесил Заратустра.

– Утро пришло! Небо распахнулось светом! Птицы проснулись, и звери покинули свои норы! Грядет день Человека! – кричал Заратустра. – Вставай, лежебока! Вставай и не забудь разбудить в себе Человека! Не гоже спать, ибо день уже начался! Начался день Человека! Скинь покровы сна, зри!

И я смотрел. Я смотрел, как этот счастливый человек, красивый в своей неумной радости, ловил порывы ветра и отдавал им на откуп блестящие струи воды. Наконец Заратустра поравнялся со мной.

– Ну что? Купаться?

– Купаться! – ответил я.

Скинув одежду, какая на ком была, мы бросились в воду наперегонки и хохотали, орошая друг друга теплыми, светящимися брызгами.

Вода держала нас на поверхности, не пуская в свои холодные недра, течение несло, а птицы, весело щебеча, пикировали вниз, словно бы желая присоединиться к нашей беззаботной радости. Заратустра напыщенно грозил им пальцем:

– Кого вы хотите поймать, птицы? Рыбу или Человека? Кого вам не хватает для счастья? Ладно, берите рыбу себе, но человека я не отдам вам, птицы. В нем не проснулся еще Человек, Он еще дремлет! Он просыпается! Не спешите забрать на небо того, кто не научился еще ходить по земле!

А я дивился этому разговору и радовался, как ребенок.

Выйдя на берег, мы замерли, ощущая внутреннее тепло наших тел, пробивающееся к покрасневшей коже. Было так хорошо, так радостно, так манил этот мир! И я пожалел, что проспал восход солнца.

– А старик еще спит? – спросил я.

– Этой ночью он умер, – ответил мне Заратустра, ответил спокойно и легко, словно говорил о каком-то милом, невинном и даже заурядном событии.

– Как?! – мгновенно мне стало холодно.

– Радостно, – тем же размеренным тоном отвечивал Заратустра. – Давно он не был так счастлив!

– Счастлив?! Чем?

– Нами, – протянул Заратустра.

Тихая улыбка сияла на его лице. Он посмотрел на меня и произнес:

– Не пугайся. Тысячу лет хранил он в сердце своем скрижали истины, но никто так и не пришел, чтобы прочесть их. Этой ночью скрижали рассыпались, и он освободился. Теперь он свободен, и он ушел.

– Куда? В смерть?!

– Смерть – вымысел. Это иллюзия, она придумана человеком для обозначения неизвестного. Мы знаем только то, что человек умирает, но мы не знаем смерти, никто не видел ее и никогда не увидит.

Нас всегда интересует то, что будет «после»: после обеда, после второго пришествия, после смерти. Мы думаем, что после смерти будет смерть, но ведь не обед следует за обедом, а после второго пришествия будет третье, а не второе.

Человек был также мертв до рождения, как он мертв после смерти. Человек приходит ниоткуда, и уходит он в никуда. Сегодня праздник, ибо смерть – это праздник, праздник второго рождения.

Почему мы радуемся рождению, но не радуемся смерти? Только страх омрачает наш праздник. Страх неизвестности – это животный страх. Человеческое тоже страшится неизвестности, но Человек радуется своему незнанию, ибо оно делает его свободным.

– Но как можно радоваться его смерти? Умом я понимаю... Но я не могу радоваться смерти. Мне жалко старика.

– Не о себе ли ты жалеешь? Тебе страшно? Подумай.

– Наверное, ты прав.

– Так признай это, эгоист должен быть честным, – Зар беззаботно смеялся. – Если тебе жалко себя, жалея. Кто может тебе запретить? Но не оскорбляй память о старике своей скорбью, ведь он тот, кто был в твоей жизни, кто хотя бы отчасти сделал тебя тобой. Благодарность испытывает Человек к человеку, с которым встречается на пути, ибо встреча эта и есть Его путь.

– Зар, но почему никто не прочел его скрижалей?

– Он ценил их больше читателей. Ты тоже старик – в тебе нет ощущения эгоиста, ощущения самого Себя. Старик любил себя, но не ощущал. Он страдал эгофилией, но не знал честности эгоизма. Он ждал, что придет кто-нибудь и полюбит его так же, как он любил себя сам. Но кто полюбит тебя, если тебя просто нет? Он ждал, но никто так и не пришел, ибо нельзя прийти к пустоте.

Учитель не может оставить учеников по своей линии. Кичиться знанием своим – значит, любить свое знание, не видя Себя самого. Это обесценивает твоё знание.

Знание имеет смысл только в руках эгоиста. Человек должен ощущать самого Себя, это сделает его знание весомым. Только так можно открыть путь к Другому.

Никогда не меняй знание на человека. Знание без человека что огонь без хвороста. Кто ощутит тебя Самого, тот ощутит и твоё знание. Но кто не ощущает самого Себя, никогда не поймет и знания Другого.

Возложи своё знание на общий алтарь и иди радоваться вместе с Другими. Танцуй с Ними, освободившись от своего знания. Твоё знание – завеса над жизнью, если ты не в силах расстаться с ним ради Другого. Но знай, что, расставшись со знанием, ты обретешь большее. Ты обретешь Других, которые обретут твоё знание. Так ты обретешь самого Себя.

Никто не заботится о Другом так, как делает это эгоист. Ты заботишься обо мне? – спросил Заратустра и засмеялся, а я смутился.

– А ты?

– «А ты? А ты?» Ату его, ату! – прокричал Заратустра и, вскочив на велосипед, помчался к дому.

Секунду я стоял в замешательстве, расхохотался и побежал за ним следом.

Х

– Скорее, скорее! – кричал Заратустра. – Мы должны успеть! Скорее!

Вскочив на велосипеды, мы стремительно помчались сквозь лес. Я видел перед собой его изогнутую дугой спину, видел, как развевались на ветру его черные волосы, убранные в пучок.

Он смеялся, кричал, он разговаривал с лесом и его обитателями. Целый кортеж рыжих, пушистых белок и крылатый многоголосый эскорт щебечущих птиц сопровождали наше движение. Лоси, увенчанные покатыстыми рогами, бурые медведи, потягивающиеся, словно от пробуждения, волки и лисы, забавные зайцы, фыркающие ежи и прочая лесная живность – все выходили навстречу Заратустре и провожали его благодарным взглядом.

– Милые друзья мои! Я покидаю вас! Я нашел Человека, я пойду с ним! Нам нужно успеть увидеть конец, чтобы начать жить! Много в человеке страха, но он дорог мне, потому я покидаю вас, мои лесные друзья!

Я смущался, полагая, что речь идет обо мне. Но все это было настолько странно, настолько фантастично, что страх мой не в силах был даже заявить о себе. Теперь мне было все равно, куда идти, зачем, когда... Мне было все равно, потому что, вопреки заверениям Заратустры, я, как мне казалось, уже ничего не боялся.

Мы ехали около часа и оказались на огромной возвышенности, с которой открывался раскинувшийся как на ладони город. Солнце светило в зените. Заратустра спешил.

– Мы успели! Смотри! – и он указал мне на небо.

Я взглянул на солнце, и оно на мгновение ослепило чудака, не жалеющего своих глаз. Темное пятно, возникшее перед глазами, показалось мне поначалу результатом этой неразумной выходки. Но уже через секунду я понял, что ошибся.

Происходило что-то ужасное...

Огромная тень полукругом стала медленно закрывать собой солнце. Затмение!

Завороженный, в каком-то животном ужасе, я смотрел на это загадочное небесное явление. А тень неумолимо и властно надвигалась тем временем на солнечный диск, и уже через каких-то пару минут стало смеркаться.

Ночь наступала раньше положенного срока. Город скрылся во тьме, на небе жадно блистали непривычно знакомые звезды, а прямо перед моими глазами, словно на гигантском блюде, зияло своей пугающей пустотой черное пятно в окружении пылающего нимба.

– Нет солнца, Андрей, если нет ощущения солнца. Тень знания закрывает человека. Ты хочешь быть мудрым, как змея, и гордиться мудростью своей, словно орел, парящий в бескрайнем небе? Зачем тебе это, если ты сокрыл в себе Человека? Жив ли ты еще, друг мой? Жив?! А если жив, то кричи! Кричи и зови себя к самому Себе! Кричи!!!

И я закричал. Да, я закричал! И от моего крика, казалось, дрогнули небеса. Крик отчаяния, ужаса, боли разрывал мое существо.

Все мои муки, страхи, сомнения слились сейчас в один громогласный стон. Но вдруг он соскользнул с моих уст, как выскользывает из рук пойманная ловцом рыба. Я онемел, сердце мое освободилось. И тогда я услышал другой крик, крик Заратустры, крик силы и мощи, крик счастья и великой победы:

– Солнце! Возвращайся! Он знает конец! Ему нужно узнать начало!

Я проспал сегодня восход, но Заратустра подарил его мне. Теперь это был мой восход, восход, подаренный мне Заратустрой.

Часть первая (август – сентябрь)

«Незрелый плод горек на вкус. Его выплюнут, а семя его сгниет в жесткой “мякоти”».

«Всякий плод рожден для того, чтобы созреть. Но он должен быть рожден.»

«Не рвать незрелого плода!» – вот искушение мудрого».

**Так говорил Заратустра, но не о плодах,
а о людях, но об этом умолчал Заратустра.**

О превращениях духа

Мы сидели на пластмассовых стульях за пластмассовым столом в маленьком открытом кафе, что в северной оконечности Летнего сада. День был теплый и солнечный, но парк, по традиции, пустовал.

Нас нежила прозрачная тишина, нарушаемая далеким шумом проезжающих автомобилей. Легкий ветерок шкодливо трепал листья деревьев да обнимал бессловесные статуи, не делая предпочтений ни по признаку пола, ни по возрасту (надо сказать, весьма преклонному у этих мраморных изваяний).

Под стать статуям и охранявшие их милиционеры были не очень-то разговорчивы, но, в отличие от последних, они время от времени недоверчиво поглядывали на посетителей парка, то бишь на нас с Заратустрой.

Зар потешался, то уличая в бессовестности ветер, то недоумевая, почему милиционеры полагают, будто мы имеем что-то против итальянских шедевров.

– Зар, перестань! У них просто работа такая – статуи охранять.

– Ваше правительство выбрасывает деньги на ветер. Бьюсь об заклад, эти статуи никуда не убегут!

– Порядок... – зачем-то протянул я.

Заратустра задумался.

– Знаешь ли ты о превращениях духа? – спросил он, глядя на кофейную гущу, растекшуюся по его чашке.

– Знаю, – самодовольно ответил я, уже успевший к тому времени заново пролистать томик ницшеанского «Заратустры». – Это о том, как дух становится верблюдом, верблюд – львом, а лев – ребенком?

– Дух не виден глазу, поэтому аллегии вполне уместны, молодец, – сухо резюмировал Заратустра.

– Что-то не так? – я осекся.

– Человек приходит в этот мир очаровательным ребенком, таким ему следует и уйти.

Заратустра улыбнулся в ответ на мой удивленный взгляд и вскоре продолжил:

– Рождается ребенок невинным животным, имя которому – человек. Рождается он животным и начинает обретать человеческое. Маленькому человечку не разрешают жить настоящим, принуждают его думать о будущем и помнить о прошлом, желая лишить младенца опоры. Ведь не лиши его опоры, он будет себе на уме. А кому это нужно в стане боящихся?

Не любит ваше общество эгоистов, но ценит оно лишь типов самовлюбленных, что, не зная самих Себя, пестуют благопристойный образ свой, некий мистический идеал несуществующей добродетели.

Причем идеалы благопристойности и добродетели разнятся у вас до неприличия...

Он рассмеялся.

– Неужели же у ребенка больше опоры, чем у взрослого?

– Ха! Ваши взрослые и вовсе не существуют. Все, чем они гордятся, – лишь отзвуки жизни, *тени* существующего, фантомы бывшего. Ребенок – вот единственный реальный человек в вашем мире. Но недолго оставаться ему человеком! Ты ведь знаешь, как быстро учится человек дурному, – он посмотрел на меня с хитрым прищуром.

– К чему ты клонишь, Зар?

И вот что говорил Заратустра, когда говорил он серьезно:

«Дух приходит в мир этот невинным ребенком, но мир полон страха. Здесь каждая тень боится собственной тени. Как же не испугаться вам ребенка невинного, открытости его добродушной и чистоты?»

Слишком хорош ребенок для мира вашего, слишком естествен, слишком прост. И не подходит он вам, ибо недостаточно страха в нем, чтобы жить ему в мире вашем. И начинаете вы страх прививать любопытному несмышленищу, не знающему, что есть мышеловки.

Болен удар мышеловки вашей, больно предательство, больна несвобода, имя которой – страх. Но кто же без боя отдаст счастье собственное? И становится ребенок маленьким львом, чтобы защитить счастье свое от предателей. Протестует он и утверждает право свое на счастье, и делает это как воин, как лев.

Раз за разом говорит он: “Нет!” И в “Нет!” его абсолютном, в отрицании этом, в безумии отрицания этого (ведь он говорит “Нет!”, даже если хочет сказать вам “Да!”), из хаоса отрицания этого рождается то, что назовут – его “Я”. Так начинает он свое восхождение на собственную Голгофу.

Каждый раз, когда говорит он “Нет!”, тем утверждает он свое “Я”. Он утверждает им свое желание, волю свою и свое право, право, которое он приписывает этому “Я”, а право его – это “Нет!” Но “Я” ребенка – не он Сам, но “Я” отрицания, отрицание воина.

Ребенок-лев обрел свое “Я”. “Я”, которое утверждает право свое, которое знает свое “хочу”. Но в борьбе всегда проигрывает победитель – он заложник своей победы, он кузнец собственной несвободы. Благородный боец – лишь звено в цепи войн и сражений. А потому сам он и есть свой палач.

И лишь тот спасается в битве этой, кто откажется воевать, но таких мало, таких отправляют у вас в интернаты для умалишенных. Если же есть битва, то будет и “Я”, и пригодно оно только войнам. Но как жить может этот сеятель смерти?

Ребенок-лев защищался от страха и отвоевал у него свое право, отвоевал и теперь испугался. Ибо когда воин становится сторожем, то обращается в труса. И это “Я” ребенка уже более не “Я” отрицания, но “Я” его страха, страха, против которого он боролся. Боится лев потерять завоеванное, боится он, что отберут его право, боится, что “хочу” его останется безответным.

Есть у всякого зверя место уязвимое: у акулы – глаз, что вытечь может под клювом слабым птенца желторотого, у антилопы – сухожилие тонкое, и потому страшит ее жалкий шакал, что сам пугается собственной тени. И лев уязвим: “Я”, “мое право” и “хочу” – вот пята ахиллесова зверя хищного. И всякий норовит дергать за ниточки эти, ибо забавно смотреть несчастным, как страшашийся согласится на все.

Подчинено дракону великому все человеческое, но имя его не “власть” и не “ты должен”, что так любите вы, а Страх. И живет дракон этот не в заоблачных далях, и не блистает

чешуя его золотом червленым в лучах солнца вечно полуденного, но обитает он в сердцах человеческих и пожирает их изнутри.

Ключья кровавые свисают из отвратительной пасти дракона, жадного до невинности, кровь пеннистая стекает ручьями густыми, что сильны, как горные реки, по морщинистым усам его.

Как пионы, красны слезы отчаяния! Не может отныне быть человек человеком, ибо раздавлен он пятой страха собственного, задыхаясь слезами кровавыми.

Страху своему противится лев, но чем более сопротивление, тем сильнее и страх, ибо страх – это боль, а боль пугает. И боится теперь рева своего зверь царственный, ибо окружен он страхом.

“Я” бесчувственное его параличом сковано. Но не замечает лев страха собственного, ибо страх его безграничен. Взором же не окинешь земли всей, а потому пугливее саранчи трясущейся лев этот, хотя и мнит он себя центром вселенной!

И приходит потому время пустое, когда сменит льва гневливого верблюдов одногорбый. А верблюд – животное вьючное, что ему в страхе? Подчиняется он, так о чем теперь беспокоиться животному вьючному?

Верблюд этот – знающий и сознательный, следует он правилам и чтит требования. Расторопно гнет он колени, подставляя спину хозяину. И не смотрите, что плюется верблюд, таковы причуды потомков льва, но потомков, и только.

Подчинение и власть так же верблюду естественны, как барханы и палящее солнце. Глух верблюд, но исполнитель. Знает верблюд команд множество и следует им рефлекторно, если же ошибется он – звено каравана, – то палка погонщика хорошо охаживает спину его. Теперь слышит ребенок ваш только палку.

Но верблюд одногорбый неудобен наезднику. Подождите же, будет ему и второй горб! Вступит верблюд в нежную пору свою, благоприятствующую любви, и страх его начнет почковаться, ибо желающий этот бесчувствен! Два горба, два нароста на спине бесчувственного верблюда, два страха: страх жить и страх умереть».

Так говорил Заратустра, я слушал его и словно видел картины из моего детства. Вот я радостный, мне два с половиной года, мы сидим с мамой на теплом морском берегу, залитые солнцем, я подаю ей камушки, ракушки, стеклышки – всё, что я выудил для нее с морского дна. Она улыбается мне в ответ. А вот я на маленьком трехколесном велосипеде гордо катаюсь по квартире – из комнаты в комнату, через стеклянные двери.

И вдруг я сжался от боли, черная тень скользнула перед моими глазами: я стою на улице у дверей детского сада, я сбежал. Снедаемый страхом, я плачу от бессилия, здесь – во дворе, сидя на снегу, перед самой дверью моего эшафота. Наплакавшись, я встаю и, закусив раскрасневшуюся губу, отправляюсь обратно – в свою «среднюю группу».

Гордый лев стал превращаться в послушного верблюжонка. Одногорбым верблюдом я был в школе. Мое состояние было подобно чувству солдата, попавшего в окружение. Из своей засады я изредка стрелял по врагам короткими очередями, но скоро понял, что этим выдаю свое присутствие. И я замер. А потом мне показалось, что все вроде бы нормально, все правильно, так и должно быть... порядок.

– Ты слушаешь? – обращение Заратустры силой вырвало меня из оцепенения.

– Да. Конечно, слушаю! А дальше?!

– Дальше. Дальше можно носить поклажу и хозяев, что на поверку точно такие же двугорбые верблюды, как и ты сам.

– А можно... – протянул я выпытывающим тоном.

– А можно испытать боль, – спокойно ответил мне Заратустра и продолжил свою речь:

«Верблюды иногда сходят с ума. Не так, чтобы они действительно становились сумасшедшими, но что-то с ними действительно происходит: они начинают брыкаться, сбрасы-

вают поклажу, плюются, ржут как безумные, нарочито фыркают, отказываются покидать водопой, перестают есть колючки. Короче говоря, выглядят лишившимися рассудка.

Это бунт посаженного на цепь льва. Львиная гордость, мощь отрицания хищного зверя и сутолока страха жвачного существа сплетаются теперь в один прочный узел.

Но лев взрослого – это уже не лев ребенка. Это лев, который долго выносил побои, лев, которого поносили и унижали. Это уже не лев отрицания, это лев отщепенца. Он ненавидит. Он ненавидит правила, порядок, лицемерие. Но в ненависти этой сам он становится лицемером, призывая других быть добрыми, оскаливая свою пасть. В этой ненависти он сам требует установления правил, но новых, которые ему кажутся достойными исполнения. В этой ненависти он жаждет порядка, ему больно, он словно концлагерный беглец, повисший на колючей проволоке заграждений.

Лев в отчаянии... Его зубы, сгнившие на тюремной похлебке, еще достаточно сильны, чтобы огрызаться, чтобы пугать, но слишком слабы, чтобы избежать зубоскальства. На деле же сам он испуган более всех, и боится негодования собственного, ибо испуган он собственной смелостью.

Снова бы стать ему верблюдом, снова бы приучиться к порядку, вернуться в стойло и жить, как живет все его стадо. Но и это теперь ему недоступно, ибо ненавидит он стадо свое за верблюжью его покорность. Теперь они для него – добыча, но не племя.

В миг бы расправился он с тупоумной паствой, что блеет покорно! Да вот только удерживает его что-то от тотемической трапезы. То просыпается во льве ребенок, но не тот уже, что был прежде, а другой, умеющий глотать слезы. Это ребенок, изведавший боль, ребенок, знающий брошенное ему в лицо «Нет!», ребенок, хранящий на устах своих горький привкус отчаяния.

Неприкаянный ребенок льва-взрослого так соскучился по теплоте рук нежащих, так мечтает о ласке и доброте, что плачет сейчас в сердце львином великая тоска слезами тихими, об утраченном плачет он, что зовет необретенным.

Чувствует он порог Вечности, порог Небытия, и готов ступить за грань эту, ибо нечего теперь терять ему, кроме своей болезни, болезни к страху. Однако снова боится он, но то уже другой страх. Нет, то не страх защиты прежней, но ужас незащитности и пустоты. Кто же может спасти его от гибели неминуемой?

Только другой ребенок, ребенок, изведавший холод ужаса этого...»

– Граждане, всё, встаем. Парк закрывается, – монотонный, не терпящий возражений голос прервал речь Заратустры.

Над нами возвышался упитанный и спокойный, как статуя (впрочем, без итальянских прелестей) милиционер с осоловевшими от скуки, бесчувственными глазами. И хотя был он немногословен, но зато в рации его тем временем кто-то отчаянно чертыхался, так что в целом впечатление было весьма убедительным.

Мы встали и пошли в сторону выхода. Я был напуган и раздражен: Заратустра замолчал после вмешательства этого заправского служителя порядка. А мне нужно было знать, что дальше, как? Но тщетно...

На все мои дальнейшие озабоченные: «А дальше, Зар? Дальше?!» – я получил одно, но спокойное, хотя и печальное теперь молчание. Сейчас мне не привиделась его печаль, я видел.

Казалось, я знал уже о ребенке, но мне хотелось знать о *человеке*. Где же человек в рассказе Заратустры, был ли он там, нет?

Но об этом умолчал Заратустра.

О кафедрах добродетели

По работе меня откомандировали на психоаналитический семинар, и я взял с собой Заратустру. Поскольку мы теперь практически не расстаемся, ему приходится выносить все тяготы, выпадающие на долю канатного плясуна.

В лекционном зале творилось что-то страшное. Народ толпился, перешептывался, и все с придыханием рассказывали о каком-то заезде профессоре, чуть ли не мессии, который должен «пролить луч света на нашу безнадежную серость».

Когда все уселись, чудесного вида старикашечка, явно истерик, которого хлебом не корми, дай исполнить какой-нибудь номер под восторженные аплодисменты публики, появился на сцене, поулыбался и занял кафедру.

Суть его пространного, но, впрочем, весьма сочного выступления сводилась к следующему:

«Сон – это кривое зеркало реальности, которое надлежит исправить.

Сон – это великая загадка, в ней ключ к бессознательному, поэтому ее надлежит разгадать.

Сон – это анализ прошлых ошибок и заблуждений, урок, который нам надлежит извлечь.

Сон – это отдых, которого мы лишены из-за снов, поэтому сон надлежит лишить сна».

Все это казалось мне интеллектуальным плутовством. Видимо, по этой же причине Заратустра не проявил к обсуждению лекции никакого интереса. Впрочем, может быть, и по какой-то другой причине.

– Во снах мы делаем то, что запрещаем себе сделать в жизни, – заканчивал свою лекцию заезжий профессор, – и мы должны знать, чего же мы бессознательно хотим, чтобы не делать этого.

Заратустра расхохотался, и непременно вышел бы скандал, если бы смех его не утонул в бурных аплодисментах собравшейся публики. По-моему, все были удовлетворены: профессор – аплодисментами, публика – лучом, который сделал то, что должен был сделать, Заратустра – смехотворностью, а я – смехом Заратустры.

Признаться, всю лекцию я елозил на стуле, словно в плохо укрепленном седле, не зная, как потом оправдаться перед Заратустрой за этот ученый фарс. Но, к счастью, все обошлось.

Мы вышли из аудитории, и Заратустра сказал, как всегда просто и без затей:

– Может быть, мы больше не пойдём на этот семинар?

Разумеется, я согласился. И мы отправились на дачу, а в электричке Заратустра говорил мне:

«Хорошо учат они, стоя на кафедрах добродетели. И находят способы они замечательные убедить человека в необходимости следовать их предписаниям. Авторитетны они и красноречивы, безусловно, умны и находчивы, эти глашатаи смерти. Но чему они учат *человека*, не зная *его*?

Учат они вас сдерживать человека в себе ради человечества. Но человечество в глазах их – не люди отдельные, не совокупность людей даже, а пустота, уподобленная божеству. Незнакома мне пустота эта, а если действительно нет ее, так ради чего мне сдерживать в себе человека, если не из-за глупости их, профессоров добродетели?

Хотят они зыбкий найти консенсус между тем, что есть в Мире, и тем, чего нет в Нем. Не для того ли, чтоб ограничить то, что есть в Нем, тем, чего нет? Боятся они того, что есть, но не потому, что оно – зло, но потому, что не знают они, что делать с ним. Нет, не по дороге мне с добродетельными!

Думают они, что если расставить все по порядку, то можно будет начать им движение. Но что они будут делать? Не имеют же они цели иной, кроме той, чтобы расставить все по порядку. Возводят мост к середине реки кафедры добродетели, а потому неважно мне, насколько правы они, ибо в любом случае это мост в реку!

Конечно, верю я добродетельным, всё могут они объяснить, всё могут по местам расставить – в линейку или по полочкам. Стремитесь вы порядок навести в своем хаосе, ибо сказали вам, что хаос плох. Но не знаете вы одного: что нет в вас ни порядка, ни хаоса!

Предметны и порядок, и хаос, о которых говорите вы, иллюзией увлеченные. Лишь вокруг они, как куски пенопласта, плавают по воде. Внутри же предметов нет ни предметов самих, ни качеств предметных. Но не в силах человек логике своей воспротивиться. Логика же требует ваша порядка, так что ждите теперь, будет вам хаос!

Логика – о знаках бестелесных наука. Но где же знак найти, отражающий непредметное? Обозначение не отражает, отражаемое переменчиво, а знак стабилен. Слово обозначает Солнце, но им не является. А если умрет Солнце, что означать будет слово это, его означавшее? Зачем вам слова?

Стена, сложенная из камней, – это “порядок” для логика самонадеянного, а для меня же – хаос. Строитель сложит стену, отряхнет руки, хлопнет в ладоши и скажет: “Порядок!” А ночью вор придет, головой покачает, глядя на стену, днем построенную, и скажет: “Непорядок!” О чем они говорят?

Да, в мире слов все вам нетрудно подвергнуть лингвистической проработке в газовых камерах языка вашего. Соорудить закономерности меж словами – не великого ума дело! – это как правила придумать для игры, тобой же придуманной.

Но разве же все взятое это вместе – не игра? Не ведаете вы того, что не живете вы, а играете, ибо не можете замолчать! Но и того более – не ведаете вы, что попались на крючок собственный, ибо нельзя же вам у самих себя выиграть!

Стоя на кафедрах добродетели, придумывают слова мудрецы ваши. Их говорят они, вами играют, играемые сами. И потому игра эта – игра, чтобы не жить, не хотят жизнь знать страшась. Игра это смерти в жизни вашей, несчастные!

Добродетель – игра в слова, игра пустотами. Кафедры добродетели – кузницы смерти пред домами страха. И не в том смерть, *что* они говорят, но смерть в том, что они *говорят!*

А потому, что бы ни сказали они, стоя на кафедрах своих добродетели, они множат смерть!»

– Зар, но если нужно молчать, зачем ты говоришь со мной? – удивился я.

– А ты умеешь по-другому? – таким был его ответ, ответ невеселый по взятой ноте, но, спустя мгновение, Заратустра мне улыбнулся.

Сейчас я сажу за столом и кропотливо записываю все, что помню из сказанного сегодня Заратустрой, но убей меня бог, он умолчал о чем-то, что самому мне никак не понять. Что значит его: «А ты умеешь по-другому?»

Надо подумать...

Я его расспрашиваю, значит, я что-то ищущу. Может быть, я ищущу новую добродетель? После всего сказанного им сегодня подобные стремления, конечно, полная ерунда, да и стремления вообще не в его духе.

Что бы он ни сказал мне – это будет лишь его половина моста.

Я «не умею по-другому»...

Так я расспрашиваю его, значит, мне интересно то, что он скажет. Если мне интересно то, что он говорит, значит, мне не интересен он сам. Я интересуюсь тем, что он говорит, а не тем, что он есть. Но слова – ничто. Я интересуюсь тем, чего нет, ограничивая этим то, что есть. Я его ограничиваю! Сам!..

Зар только что вернулся домой после вечернего моциона, умылся, пожелал мне спокойной ночи и отправился спать. Что ему приснится этой ночью – то, что он хочет, или то, чего он не хочет? Сегодняшний артист, надеюсь, сломает себе голову на этом вопросе. Что-то зло я шучу...

В печке потрескивают поленья, мне придется подождать, пока они догорят, а вот писать на сегодня уже больше нечего. У меня есть добрых два часа, чтобы подумать о том, как не думать. Глупо, да? Ну, по крайней мере, я теперь знаю, что такое «добродетель», подбродетельствую...

О мечтающих о другом мире

Проснулся я в дурном настроении, впрочем, вполне для меня обычном. Проснулся, полежал еще в кровати, вспомнил вчерашний вечер, думал еще сколько-нибудь поспать, но потом все же встал, вышел из дома, потянулся, осмотрелся, почесал голову. Ничего не помогало.

В душе кадила дисфоричная тоска и хотелось помереть, причем чем раньше, тем лучше. Утреннее солнце и радость нового дня словно обошли меня стороной, хотя и были рядом. Все это казалось мне пустым, ненужным и абсолютно бессмысленным.

Тоскливым взором, шурясь от яркого солнечного света, я уставился на Заратустру, который с непобедимым оптимизмом косил на участке столь же непобедимую траву. Я смотрел на его загорелую спину и думал:

«Ну и что? Все пустое! – тут мысли на время оставили меня, но вскоре вновь поскакали, подобно приземистым мамаевым лошадам. – Все пришло из небытия, и все уйдет в небытие. Все пустое! Толку никакого. И я тоже... Исчадие суеты – одно слово! Или даже два! И что теперь? И на кой черт?! – я сел на скамью и опустил на руки отяжелевшую голову, содрогающуюся, казалось, от этого мыслительного топота. – А траву-то он зачем решил косить? Вот тоже, с ума сошел! Голова на десятерых, а толку...»

Тут я залюбовался его работой, глубоко вздохнул и только подумал о том, как он хорош в этом своем ничего-творчестве, как вдруг мигом получил исчерпывающие ответы на все свои вопросы.

– Перестань скулить, – громогласно сообщил Заратустра, не оборачиваясь ко мне и не переставая косить. – Иди умойся! Сейчас я закончу, и мы будем пить кофе.

– С чего ты взял, что я скулю? – я был и поражен, и уязвлен одновременно.

Тут Заратустра обернулся, залитый солнцем, посмотрел на меня, улыбаясь, смахнул со лба пот и произнес со своей удивительной нежностью:

– Потому что я думаю о тебе.

Это звучало так просто, так открыто, так естественно, что я смутился, залился краской, протрезвел в одну секунду, опустил голову и, как нашкодившая собачонка, поджав несуществующий хвост, ретировался в ванную.

Умывшись холодной водой, я отправился на веранду. На столе уже стоял завтрак, а кофеварка призывно шипела, источая благословенный кофейный аромат.

– Садись, – услышал я со спины. – Овсянка, овощной салат и бутерброды с сыром. Давай, налегай!

Я сел. Заратустра налил мне кофе, положил в широкую пиалу каши, пододвинул салат и уселся рядом.

– Ну, и как это называется? – спросил он меня с серьезностью самого доброго из учителей. – Это называется «эгофилия», – сообщил он, не дожидаясь ответной реакции. – У тебя от этого будет несварение желудка, а голова уже сейчас по всем швам трещит. Тебе это надо?

– Нет.

– Ну, и как это называется?

– «Эгофилия».

– Нет, это называется – «глупость», – тем же располагающим тоном продолжал свою отповедь Заратустра. – Когда «мир несовершенен», а «Я» мера всех вещей, то это называется глупость, и никак иначе. «Я» – это глупость по определению, а ты, вооружившись эдакой «глупостью», принимаешься судить все и вся. Ну не дурак?

– Дурак, – я признался в этом чистосердечно, хотя и не понял еще, «почему, собственно».

И вот что говорил Заратустра во время завтрака:

«Человеку хочется, чтобы его любили. Это похвально. Ему кажется, что если бы его любили, то все было бы у него хорошо: и мир бы стал совершенным, и Бог добродушным, и сам бы он был “ничего себе”. Так вот, это – глупость!

Если ты зависишь так от всего и вся, то тебя нет. Понял?! Кого любить-то?

О чем ты мечтаешь? Как хочешь ты, чтобы тебя любили? Вот я тебя люблю, а ты, как дурак, продолжаешь хотеть, чтобы тебя любили. И что? А если бы ни я, ни кто другой тебя не любил, разве же изменилось что-то в твоём мире бесконечного ожидания?

Ты ждешь того, чего нет. Так ведь этого нет! Нет ничего “по ту сторону”, пока нет стороны этой. А ее, и правда, нет. Что “по ту сторону” реки? “По ту сторону” солнца? “По ту сторону” неба? Река, солнце и небо. Остальное же – идеализм, а значит – глупость! Что “по ту сторону” человека, если нет еще человека, а только смрад один да базарная суета?

У тебя сколько жизней? Пять, десять, сто или все же одна? И кто будет ее проживать? Ты, или страхи твои, или, может, иллюзии, устремления в пустоту непроглядную? Кому ты ее отдашь? Кого выберешь себе в падальщики?

Нет правды ни в тебе, ни во мне, ни в ком другом, правда только *между*. Она сиюминутна, рождается в соприкосновении двух и умирает, когда расходятся стороны, каждая своей дорогой.

Ты же пытаешься найти свою правду, несуществующую “по ту сторону”, которой нет, и так, чтобы была она вечной, словно утюг чугунный. Лучше бы ты воду в решете носил – больше было бы проку!

Много ли правды в солнце самом по себе? А в теплоте? Чувствуешь разницу? Что скажешь о человеке, что эгоистом себя не ощущает? Все будет ошибкой. А о себе что ты знаешь, если не ощущаешь себя эгоистом?

Нет того вовсе, кто не ощущает самого Себя, ничего о нем нельзя знать. А если любишь ты себя или других, но любовью “потусторонней”, то лучше постричься тебе в монахи. Там, в монастыре, будешь носить свою воду!

Если занялся ты собой, самосострадательный, если по себе льешь ты слезы жалкие, кликуша, то умерло для тебя пространство *между* – знай это! С ним вместе умер и ты, плакальщик похорон собственных. Это называется – “эгофилией”!

Нет мира другого, но всегда будет тебе человек другой, если дорожишь ты жизнью своей, будучи эгоистом. Идеализм – блеф для страшущихся и пристанище для мертвецов, что мир другой ищут, а человека другого не замечают.

Дорога всегда неизвестна. Мечты – неизвестны. Предметы – лишь кажутся. Радуйся – неизвестность освобождает!

Те, кто ждут, – не дождутся. Те, кто ищут, – не найдут. Те, кто делают, – те получают всё, если не ждут и не ищут.

Те, что лгут себе, не зная о том, – уже умерли. Те, кто любят, – те любят, и только! Те, кто не любят – никогда не полюбят, ибо жизнь одна, а времени – нет.

Те, что открытости своей не ведают, – те пусты будут вечно. Те, кто не хотят, – не захотят никогда. Те, кто хотят, – делают.

Ничего не случается “когда-то потом”. Если что-то есть, можно это лишь спрятать, но нельзя уничтожить. “Та сторона” – это то, что прячет, но не то, что прячется.

Сегодня ты смотрел по ту сторону себя. Каково тебе, убийца?»

– Ну что, страдающий эгофилией, ты все еще хочешь быть эгоистом? – спросил меня Заратустра, когда мы завершили наш завтрак.

– Да, хочу, – твердо ответил я.

– Хочешь, значит делай, и сейчас! А будешь ждать – умрешь.

Мы убрали со стола.

– Пойдем прогуляемся, – предложил Заратустра, – ты покажешь мне дачный поселок. Я, разумеется, согласился, и мы отправились.

О презирующих тело

Мы проходили мимо соседского дома. К забору на короткой, истершейся веревке был привязан огромный ньюфаундленд. Хозяева почти не ухаживали за псом, разве что кормили его время от времени. Грязная шерсть его давно выцвела и свалылась, из глаз тек серый, сохнувший гной, подушечки на лапах растрескались. Он зарывался в песок и лежал так целыми днями.

– Зачем они привязывают дохлых псов? – спросил меня Заратустра.

– Это не дохлый, это спящий пес, – ответил я многозначительно, но голос мой обрвался. – Просто никому нет до него дела. Хозяева каждый год снимают здесь веранду. За десять лет они, кажется, даже не гуляли с ним ни разу. Он всегда лежит тут один, привязанный.

Заратустра пожал плечами, отвернулся и так говорил со мной:

«Люди обращаются с телом своим, как хозяева эти с псом. Но разве же тело свое для человека – “пес”?»

Радует тело, желает тело, наслаждается тело – разве же “пес” оно для человека, а не сама его жизнь?

Природно тело ваше, как и всякое существо живое. И хочет жить существо всякое, ведь оно живо. Ибо живо лишь то, что хочет, и хочет лишь то, что живо.

Но телу вашему запрещено хотеть, ведь есть господин у тела вашего, господин, что решает и думает, что решает.

Он устанавливает порядки, он дозирует желания тела, ибо сам он не может хотеть, а может только хотеть хотеть, но это не то же самое, что *хотеть*.

Как же зовут господина вашего, царя над телом? Кто-то духом зовет, кто-то разумом кличет этого глиняного Колосса, на земле, да не из земли стоящего.

И песни слышны во славу гиганта этого, и оды слагаются в честь его, и передаются псалмы эти из уст в уста, как ритуальные поцелуи.

Но чем громче поете вы во славу господина вашего, тем очевидна мне более смехотворность фарса этого, где царствует марионетка!

Ибо Колосс ваш – не колосс, а кукла послушная в руках добродушного великана, имя которому – тело. Никуда не уйти вам от тела вашего, оно же идет!

Восхваляйте Колосса своего, я буду смотреть, как торжествует в раззолоченной темнице своей попанное невежеством тело!

И знайте же, что торжество разума вашего – начало его конца и вершина падения. Ибо рожден он страхом, а обманом побирается, тело не сможет он обмануть, но вас обманет!

Всегда мне смешон король был, думающий, что повелевает он народом своим и своим государством. Пусть бы это и было так, но какой смысл в этом, если даже над жизнью своей король тот не властен?

Но кому верите вы, разумные, телу или разуму вашему – делающему или представляющему? Верите вы тому только, что можете вы понять, а потому верите вы разуму своему, который сами же вы и создали, страшись неизвестности.

Играете вы в игру: сами загадываете себе загадки, и сами же на них отвечаете. Ну, так верьте же разуму своему и презирайте же тело ваше, вы ведь хотите смерти! И она будет вам, это игра ваша!

Не можете вы телу своему поверить, ибо скрыто оно от разума вашего, а нельзя понять бытие, будучи порождением бытия. То же, что не понимает разум ваш, того и не существует для вас. А может он понять только себя самого, и только!

Рожденное бытием способно лишь ощутить бытие, но разве может оно ощущать разум? Вы же считаете ощущение свое незначительным. Но не потому ли, что оно огромно? Дабы скрыть малосильность свою, для сохранения тщедушной гордости вашей, воспеваете вы свое понимание!

Отказались вы от тела вашего и предали тем тело свое, презрели его в мнимом величии разума вашего. Так живите ж без тела! Отчего пользуетесь вы им?!

И не совестно вам, перебежчики, за счет нечестивца жить гадкого, что желаниями полон постыдными? Бессильны вы телом быть и потому понукаете им, так ведут себя немощные, имя чье – моралисты!

Разум возник, чтобы жить помочь телу вашему, вы же из защитника благородного тюремного зрителя сделали, а из зрителя – палача! Такова благодарность ваша, такова изнанка!

Но трусость ваша сильнее глупости вашей, созида я правоту свою, бессильны вы следовать ей до конца! Не решились вы убить тело ваше, а потому просто изгнали его. Теперь не живете вы, а думаете, и думаете, что живете.

Только тело и живет в мире, а разуму нет в нем места! Как паук, плетет он свою паутину, но ведь сам он и есть своя паутина. И ничемнее разум ваш паука хозяйственного, бессильный поймать даже муху!

Тело – вот что реально единственно, вот свет подлинный и царство жизни! А разум ваш – лишь два зеркала, что глупо заглядывают друг в друга и смеются гортанными спазмами, словно умалишенные.

Безумие – то не отсутствие ума, страшась, безумие – это отрицание ваше тела вашего, тела, которое отправили вы в отставку!

Безумный, разумом своим повредившийся, ищет спасения себе от страха своего. С помощью разума ищет он пути бегства. Но разум его – страх, ибо не может разум хотеть. Право, нет безумного больше, чем умник!

Страх – следствие то и признак желанья мертвого. Желание – жизнь, когда же не можешь желать, то боишься жизни и бежишь от нее, как тонкокрылая саранча. Таков разум! Не живете вы, насекомые, но содрогаетесь в проталинах топких разума вашего!

Страшась, вы тело запугивали! Пугливые, нашли вы себе козла отпущения! Испугали вы тело свое смертью, ему неведомой. Как же сладко вам личинки страха высиживать!

Тело живет в существующем, а поэтому не знает оно смерти. Но были вы немилосердны в ненависти вашей к телу, завистники, желать неспособные, запугивали вы его смертью!

Морили вы тело своим страхом, запрещали желать ему, и оно испугалось. Оно испугалось вас, страшась! И тогда покинули вы тело свое, ибо не любите вы слабых, будучи слабыми.

Гордые, вы ушли восвояси, но испытали ужас тогда желанья мертвого. Утратили вы опору, утратили основание, ибо с желанием вашим и жизнь вас покинула. Теперь же былинки вы слабые, гонимые ветром. Нет вам пристанища, нет вам покоя, и вечная смерть вам, отступники!

Думали вы, что избавитесь от желанья и покой обретете, но обрели вы смерть! Думали вы, что есть у вас “Я”, но знайте же теперь: было у вас только тело, но и его умудрились потерять вы, разумные!

“Я” ваше – порождение страха вашего смерти, и чем больше “Я” ваше, тем более страх. Но так радуйтесь же теперь, ибо вы не можете умереть более, во веки веков, ибо вы уже умерли!

Считали вы тело ваше ртом лишним, так знайте же, что его рот – это ваш рот! Казалось вам, что кормите вы кукушонка чужого, так знайте же: вы и есть кукушонок тот! Думали вы, что тело – низ, а разум – верх. Хорошо же, теперь вы внизу, озритесь, безумные, – это разум!

Обитель святую свою загадили вы нечистотами страхов ваших, а потом покинули загрязненное место, чистоплюи! И как же живетесь теперь душам вашим блудным, лишенным обители святой тела?

Что, теперь узнали вы цену предательства вашего?! Нет, не забывали вы тела, да вот только оно позабыло вас! Стучитесь же теперь в двери дома его, падите пред ним на колени, молитесь, безумные, его о прощении и плачьте, плачьте, предатели счастья собственного!

Тело ваше теперь мертво, завистники! Зачем так пестуете вы теперь свое мертвое тело? Зачем так настойчиво блюдете вы пропорции его и оттачиваете формы? Зачем вы изнуряете его упражнениями, зачем мучаете диетами?

Оно похоже теперь на погребальный костер, тело ваше, костер погребальный, увитый гирляндами цветов мертвых! Зачем украшаете вы мертвое тело свое нарядами и драгоценностями? Зачем, если не жаждете вы отдаться хоть кому-нибудь, лицемеры!

Да, поруганное тело ваше продолжает хотеть! Вопреки глупости вашей и чванству вашему – продолжает оно хотеть! И хочет оно Другого, и всегда хотело!

Так презрите же слабосильную гордость свою и отдайтесь! Пусть Другой завладеет вами, коли сами вы себе недостаточны, и тогда обретете вы тело свое. А иного пути нет у вас, пустынники разума, идолопоклонники тщедушного «Я»!

Пожертвуйте же обузой своей, пожертвуйте своим «Я», пожертвуйте – обретения ради! Станьте же телом своим, и лишь тогда обретете вы самое Себя! Отказавшись от представителя, вернете вы себе представляемое.

Истосковалось тело ваше по обладателю, неприкаянное, давно уже ходит оно в невестах! Но вечно вы лжете, тщеславные, отдаться готовы вы только Богу, на меньшее не согласны вы, сумасбродные шарлатаны, торгующие мощами!

Богу своему предлагаете вы разум ваш слабосильный: каков Бог – таковы и жертвы! Страх – к страху, смерть – к смерти, прах – к праху! Аминь!

А тело?! Безумные, что с телом вашим?! Истинная правда ваша, сирота и жизнь ваша – тело, которое предали вы и унизили, как же оно?!

Старая дева оно – тело ваше! Но поруганное и покинутое, изгнанное и приговоренное к смерти, все еще тоскует оно по обладателю! Так не противьтесь же последнему желанию тела вашего, насильники поневоле!

Если же думаете вы, безумные, что не хотите последнего желания тела вашего, так знайте же, что вы лжете! Ждет вас еще паромщик на Лете!

Если же знаете вы правду, но боитесь, то взгляните в глаза страху вашему и увидите вы морду Цербера, он охраняет от вас Царствие Человека!»

Был ли это намек, аллегория, провокация или единственная возможная правда? Я не знаю. Расспрашивать было глупо, а сам Заратустра об этом умолчал.

Мы сделали круг и вернулись к дому, где у забора на привязи по-прежнему мучался несчастный пес благородной, но вышедшей из моды масти. Зар остановился у калитки, какое-то мгновение стоял в раздумье, которое я не посмел нарушить, потом открыл резким движением калитку и крикнул:

– Кто считает себя хозяином мертвого пса, лежащего у забора?

Дачники выскочили из веранды и замерли при виде незнакомца.

– Он был вам не нужен живым, он не нужен вам и мертвым, – сказал Заратустра. – Я сам похороню его. Не прощайтесь с тем, с кем не были вы знакомы.

Зар оборвал веревку и бережно взял на руки массивное черное тело. Пес действительно был мертв... Я оцепенел от ужаса: еще секунду назад он казался живым! Теперь же его

обессиленные черные лапы свисали, как кисти драпированного бархатом саркофага, морда, словно бы от тоски, уткнулась в плечо Заратустры.

Зар пошел по направлению к лесу. Все высыпали на улицу, что-то то ли кричали, то ли шушукались, но никто так и не решился последовать за нами. А я прихватил лопату, и уже через пятнадцать минут мы были на месте, в березовой роще.

– Холодны объятия трупа, – говорил Заратустра, глядя в полуоткрытые глаза черного пса, – холодны объятия человека, презирающего свое тело. Крик отчаяния в объятиях человека, разведенного с собственным телом.

Душа, покинувшая тело свое, жметя жадно к телу другому, желая обрести тело это взамен утраченного, взамен собственной плоти. Не может ни радоваться, ни радовать душа, презревшая свое тело, в другом ищет она пристанища.

Не Другого ищет она в другом, а лишь только другое тело. Не на свадьбу идет она, но на поминки. Холодны объятия трупа...

Заратустра взял у меня лопату, и сырая земля посыпалась комьями на сухую траву. Мы похоронили пса и потом, не проронив ни слова, еще долго сидели здесь, на траве, под поющими березами, рядом с холмом, где с миром и в мире покоилось тело...

О радостях и страстях

К вечеру приехали мои кузены, на огонек подошли друзья детства с соседних дач. Тихие разговоры, тепло натопленной печи, чай со сдобой, а за окном ночь, где небо сплелось с гулким лаем дворовых собак.

Мы вспоминали наше детство, было и весело, и грустно, но все-таки больше грустно. За столом, в креслах и на кроватях сидели директора фирм, музыканты, служащие, даже психотерапевт один...

Разговор время от времени запинаясь, прерывался то молчанием, то вздохами, то смехом. Все мы, сами того не понимая, тосковали о чем-то утраченном, о чем-то, чему нет названия, что было когда-то столь реальным и столь естественным, что просто не могло иметь имени.

– Как изменились все! – шепнул я на ухо Заратустре. – Мы словно не говорим, а играем в слова, эти паузы... Какая-то граница пролегла между нами. Пиетет без пиетета... Театр с народными артистами, каждый из которых уверен, что не играет, а живет на сцене.

Заратустра улыбнулся в ответ. А когда мы остались одни, он говорил так:

«Детство – знание, которому суждено исчезнуть под натиском человеческого.»

Что такое искренность? Что такое счастье Двух? Этого не изъяснишь словами, этого не постигнешь здравыми рассуждениями, этого не исполнишь, узнав. Это нечто, что есть.

Но разве можете вы жить, жизнь не поясняя словами, не обрамляя ее мириадами рассуждений, не пытаясь осилить плоть ее искусственным инструментом сознания?

Слово считаете вы благом, рассуждение – истиной, сознание – реальностью. Лучшее, что имеете, – искренность и счастье Двух – обрамляете вы своим мнимым богатством: своим благом, своей истиной и своей правдой.

Серп добродетели бессилен ухватить искренность. Как может жнец поймать ветер? Однако же преуспел он в усекновении колоса. Жнец – убийца во благо.

Должна искренность стать правдой, чтобы поддаться жнецу, но это плаха ее. Счастье Двух неуловимо, незримо оно для третьего. Однако третий этот в каждом из вас наличествует, он требует у вас объяснений.

Должно неопределенное обрести форму, иначе контроль ваш над самими Собою – венец добродетели – гоняться будет за ветром. Но слишком он высокомерен для этого. Чопорный, готов умертвить он живое, только бы не оскандалить себя легкомысленностью!

Вы определились. Не хотели вы быть хорошими, вы захотели стать ими. Не хотели вы быть искренними, но хотели заставить себя стать правдивыми. Не хотели вы испытывать счастье, что только Двум известно, но захотели вы организовать его. Нужен был вам рецепт, всё хотели вы делать по правилам, ибо осмысленной приходит к нам смерть.

И добродетель множилась. Узнали вы ложь во спасение, убийство во благо, наказание из любви, предательство из сострадания, борьбу за правду, муку за веру, страдание во искупление... Слова, слова! Добродетель множилась, а сердца ваши рассохлись, словно посуда глиняная, и опустели, ибо вытекла из них жизнь. Но рассудок зато заполнился ваш до отказа!

Знали вы, что искренность – это счастье, знали вы, что счастье – это искренность Двух, но тогда не знали вы слов и главного слова своего – “Я”. Когда же узнали вы сладость инквизиции их, то перестала искренность ваша быть искренностью, обратившись фантомами правды. Из волшебницы стала она ведьмой, забавляются паяцы теперь на лютном шабаше!

И вы спросили себя, мудрые: “Искренен ли я сейчас?” – и тем стали вы лгать. Запутались вы, реальность, сдобренная словами, рассеялась. Испугались вы, потерянные, и стали

помощи искать у слов ваших, они же рождали вам рассуждения, а рассуждения даже мертвого вразумить могут, и вы вразумились!

Слово заменило вам ощущение, действие стало у вас рассуждением и оттого страдает теперь параличом да судорогами, бьется в дуге истерической, высказываясь, неспособное высказаться. Вы – говорящие, бывшие живущими некогда, хороши же дела ваши!

Собой были вы, когда играли в машинки и посуду игрушечную. Когда ж перестали играть вы в машинки и кухни игрушечные, но стали машины водить и семейные готовить обеды, перестали вы быть самими С собой – вы стали водителями и поварами!

Быть водителями хорошими и кулинарами прекрасными стало для вас важнее, чем быть самими С собой. То, что было игрушкой, стало реальностью, то, что было реальностью, – стало теперь игрушкой!

“Что такое я сам, если не умею я машину водить и готовить обеды?” – так вы спросили себя и поняли, как важно быть хорошим водителем и поваром виртуозным.

“Сам я – пустое место, – думали вы. – К чему это пригодно? Какова добродетельность этого «не пойми что»? У него-то и названия нет! О нем не расскажешь, к делу не подошьешь. По крайней мере, обед оно не сварит”. Так рассуждали вы и самих Себя потеряли, но стали зато добродетельными!

Нет, не стали вы эгоистами, но актерами и паяцами. Реальность заменили вы фантомом реальности, и не замечаете ныне вы игры своей. Но тем для вас хуже! Лучше зато для прочих потерянных, ибо теперь ведь вы добродетельны, можно и с вами играть в игру эту, большие детки!

Вы узнали слова, и не стало более искренности Двух, возникли меж вами “отношения” – там одни, здесь другие. Начали вы рассыпаться. Стал человек актером и потерялся за личинами ролей своих.

Кто ж он теперь – человек ли, персонаж заурядной пьесы? Двум царям не услужить. А трем, а пяти, а тысяче царей? Богатый репертуарчик для мертвеца! Бейте же теперь в бубны – празднуйте сценическую карьеру вашу! То погребальный набат, от него закладывает у меня уши!

Искренность – одна, а правда – здесь одна, там другая, “у каждого своя правда”. Живете вы с людьми в “отношениях”, живете во вместилище правд, отстаивая свою, примиряясь с чужой, принимая правду, чуждую вам, и не веря ей, но следуя законопослушно ее распорядку!

Но не сетуйте, ведь “правда” всегда добродетельна, и серп жнеца собрал богатый урожай этих плевел! Мельник теперь перемелет их, обратив в труху праха. Добавит пекарь дрожжей и соли – будет вам хлеб к обеду, будет, чем напитаться рассудку! Да вот только счастья не будет, ибо нет искренности, а лишь слова одни да говорение всухомятку. Питайтесь!

Достанет в корзине рассудка – и хлеба, и рыбы, только вот желудки ваши пусты будут... Но что вам желудки, дети виртуальной правды! Ибо поедаете вы сами Себя – наслаждайтесь же, изощренные каннибалы! Грех кривиться от пищи такой, слишком уж дорого она стоит!

Все смешалось в мире вашем: за правдой ложь ходит тенью, за радостью – горе. Вы смеетесь? – Так это не к добру! Говорите вы правду? – Тогда молчите, не то вас осудят! Любят вас? – Значит, бросят! Берегитесь, радейте, искренними не будьте, не доверяйте!

Стала добродетель ваша – решеткой, роли – цепями, правда – диетой из ядов! Но даже зверей диких не возят так, в клетях добродетели! Отравителей гадких не кормят диетой отравленной, а у человека и рта даже нету для пищи этой! И в цепях таких нет человеку жизни, ибо он задохнется в них!

Вы посеяли ветер, да испугались бури. Зачем же вы сеяли ветер?! Теперь вы умрете, ибо самих Себя испугались, от Себя самих отреклись! Страшались, облеклись вы в одежды добродетели вашей. Знайте же, что это саван!

Много человеческого в добродетели вашей, да вот только нет в ней человека! Потерялся он и запутался в складках пурпурных бархата льстивого добродетели лживой.

И потому говорит Заратустра: человеческое есть нечто, что должно быть побеждено, чтобы мог человек быть Человеком».

Зар, как и всегда, говорил обо мне. Счастье Двух так знакомо мне, так манит! Но я чувствую добродетель, она встает стражем между мной и Другим, встает и разглагольствует. Она поет, подобная птице Феникс, поющая, кажется она прекрасной, когда же она умолкнет, то предстанет в истинной своей красоте: она уродлива, как смерть, и она несет смерть одиночества своим сладостным пением, скрывая Другого, которого я не знаю.

Я неискренен, мое признание в неискренности кажется искренним, но это снова игра: теперь я играюсь фантомами – словами искренности и неискренности. Результат этой игры очевиден, я, конечно, приму сторону искренности, но в безальтернативности этого выбора заключена ложь – я не выбирал, я делал вид, что выбираю.

Принять сторону искренности – не значит *быть* искренним, а потому, принимая сторону искренности, я лгу дважды. Печально...

Так я думал уже во сне, потому что заснул, слушая Заратустру. Тяжелый был у меня сон: мне снился лабиринт, в котором, к сожалению, не было Минотавра, который бы мог меня сожрать, прекратив этим широким жестом все мои страдания и мучительные поиски несуществующего выхода.

О бледном преступнике

Мы шли длинными подземными переходами железнодорожной станции. Мертвый свет гелиевых ламп падал на бетонные конструкции, отчего мрачные конусовидные четырехгранники потолка, не в пример готическим стрелам, лишь еще больше прижимали нас к полу. Картину дополнял гулкий шум торопливых шагов, что напоминал поступь похоронной процессии.

– Вор! Держите вора!!! – эхом пронеслось в переходе.

Мужчина лет сорока бежал за худощавым парнишкой, мальчик, как ветерок, протиснулся между мной и Заратустрой, скользнув молящим и перепуганным взглядом по нашим лицам.

– Ловите его, ловите! – сорванным голосом кричал пострадавший.

Мы продолжили свой путь, не оборачиваясь и не изменяя скорости шага.

«Не пытайтесь наказать преступника, он наказан уже собственным страхом, – говорил Заратустра. – Или надеетесь вы, что наказание справедливое обидчика вашего вас избавит от страха? Но что такое “справедливое наказание”, если не попытка ваша решить проблемы свои за чужой счет?

Бойтесь вы – и в этом собственное наказание ваше. Но, наказывая другого, вы не перестаете бояться, а лишь больше еще бойтесь: страшится хваленая добродетель ваша, ибо меру она перемеривает; страшится справедливый суд ваш, ибо может он ошибиться и знает о том; страшится ваше «Я» добродетельное, что не были вы сострадательны; но более всего бойтесь вы сами, ибо чувствуете вы, что наказание ваше цели своей не достигнет.

Но какова же цель наказания вашего – думали вы об этом? Отомстить, перевоспитать или ущерб возместить? О, даже не знаете вы, зачем наказываете! Полагаете, что надо вам наказать. Так прислушайтесь же к этому надо – вы услышите голос страха вашего! А потому говорю я вам: наказывая, вы сами наказаны!

“Враги” и “злодеи”, “больные” и “обманщики”, “глупцы” и “грешники” – все они порождения страхов ваших. Рождает границы добродетель ваша, вы же сидите в засаде и трясетесь от страха! Отчего любите вы так смаковать страхи чужие, если не от желания вашего скрыть трусость собственную? Так сознайтесь же в трусости своей, судьи!

Судьи, откройте сердца свои! Что в них, кроме страха?! Но кого осуждаете вы страхом вашим, если не самих Себя?! А ведь даже не видите вы, что страшитесь! Не оттого ли изображаете вы слепой Фемиду? Не глаза ли ваши держит она в чашах весов своих? Пусть простят вас другие, ибо не ведаете вы, что творите, но что проку в том, если страх ваш не знает прощения!

Однако же лучшее свидетельство страха вашего – мысль ваша. Думая, выдаете вы тем самым страх свой. Не знание истины, но страх ваш говорит словами вашими! Так говорите же прямо, хватит общаться с собой через посредников и переводчиков! К чему комедия эта, лжецы и прохвосты?! Кого надеетесь обмануть вы, устрашающиеся, если не Себя самих? Говорите гримасой ужаса!

Кажется вам, будто бы дело ваше – следствие мысли, дело облакаете вы в слова и судите ими помыслы. Так вот, вы ошиблись в порядке! Не мысль порождает дело, а дело – мысль, иначе же мысль ваша – бред. Всё вы со страху поставили с ног на голову! Так сломаете вы себе шею, лихоимцы счастья собственного!

Мысль ваша – только скорлупа одна дела вашего. Не содержимое судите вы, гнезд разорители, а скорлупу его. Не можете осудить вы дело, ибо так длинны языки ваши, что коротки! Мысль осуждаете вы, воры, укравшие мусор! И не голодно вам скорлупой яичной питаться? Видно, кормите вы ею скелеты свои, шедевры музеев анатомических!

Скорлупа в умах ваших, скорлупа одна, а жизни не знаете вы! Украл кошелек мальчишка, и теперь жажда в вас ущерб возместить камнями. Молодцы! Признайте же дело и увидите вы исчадие страха вашего, а слова – слова только!

Словами оправдать вы можете вора, словами можете осудить. Однако же первое зовете вы “гуманизмом”, второе – «торжеством справедливости»! Но не значит ли это, что негуманна совсем справедливость ваша? Что тогда, гуманисты безумные, зовете вы справедливостью?

Осуждая вора, себя вы оправдываете. Оправдывая вора, себя осуждаете на страх свой. Так и есть, что, осуждая, не освобождаетесь; оправдывая – не освобождаете. Несвобода – вот подлинная свобода ваша, рабы страха! Что ж делаете вы, называя кого-то “преступником”?

Страхом своим вор открыл вам страх ваш! Так благодарите же вора за откровение это, ибо он сорвал с Фемиды вашей удавку, он сделал ее зрячей! Пусть же украдет он и страх ваш с кошельком вашим! Не подаяние, но приобретение – вот что есть признание вами страха вашего.

Дорогою потерь идет несчастный, дорогою обретений шествует, танцуя, счастливый. Украдите же счастье свое у человеческого, станьте вором дарующим! Я такой вор, ибо нечего терять тому, у кого нет ничего, но всегда есть ему, что обрести и что подарить!

Признайте же и чужой страх, этим признаете вы дело. Но одно зовете вы безумием и страшитесь, другое – преступлением и снова страшитесь. Вот и говорю я вам, что вы безумны!

О, этот вор жаждал не кошелек вашего и не крови вашей, даже не дела своего жаждал вор этот, но жаждал он лезвия острого, лезвия своего страха! Не оттого ли вор этот более человек, чем вы?

Но все же вор – человек, бегущий от человека. Провоцируя страх ваш, не хотел он освободить вас. И не себя вор испытывает, но страх свой, а потому и не может быть он человеком!

Что ж не скажет вор: «Я украл!» Что ж он бежит? Страху бросил он вызов и страху потворствует. Знайте же, страх всегда отыщет себе союзников! А потому вор этот подобен самоубийце, что пистолет заряжает холостыми патронами, – не велика же удаль душегубства такого!

Кого ж обманывает вор этот? Самого Себя он обманывает! Не обманывает обманщик, но обманывается, ибо стыдится вор, а стыд его – это страх!

Кто ж для человека лучший судья, если не он Сам? Однако же не осуждайте страхи свои, ибо не страшен страх, но страшно бессилие ваше до конца пережить страх ваш!

Не в том беда, что страшитесь вы, но беда в том, что страшитесь вы страха, беда в бессилии вашем! Но и слабости своей признать вы не можете! Так захлебнитесь же в чувстве вины собственном, притворщики!

Вина – вот она, бездна слабосилия вашего признать дело! Верите вы, что можете прошлое изменить, вина ваша – тому доказательство!

Нет у вас будущего, а настоящее ваше – страх! И я смеюсь! Слышите вы, я смеюсь! Неужели же не слышите вы смеха моего, голоса свободы?! Поднимите же голову, винящиеся! В лицо смеется вам Заратустра!

Что такое человек этот, что страха собственного испугался? “Вор”, – скажете вы. “Вы”, – скажу я. У себя украсть умудрились вы Себя самих! Ловкости дивлюсь вашей я, Заратустра! Куда же спрятали вы добычу свою, запасливые? Где искать вам теперь украденное?

Скажите мне, зачем отреклись вы от Себя самих, и я скажу вам, где покоится сخورившееся! Для других вы делали это, но ничего другим тем не сделали вы, а только себе!

Перед другими совестно вам быть эгоистами, но должно быть вам совестно, мертвецы, перед собой Самими не быть ими!

Скажите: “Я украл, я вор. Я убил, я убийца”, воры счастья собственного, убийцы самих Себя! Все вы преступники, так покажите же мне лицо преступника, покажите мне свое лицо! Я хочу его видеть!

Нельзя начать с шага второго, ибо не бывает второго без первого. И не лгите мне, никого вы не любите, ибо вас Самих нет, шагающие только правой ногой, вычерчивающие круги на месте одним!

Видите вы бледное тело мальчишки этого, камнями побитого? Это отражение страха вашего! Любуйтесь же, справедливые, собственным отражением вашим! Хватит кривых зеркал! Хорошо вам?!

Не подступила ли теперь желчь к горлу, не душат ли слезы вас, не режет ли глаза ваши болью? Нет, не у преступника бедна душа, а у судьи его! Ибо нет зла иного в мире этом, кроме страха вашего.

Многое зовете вы “злом”, а зла самого и не видите. Возьмите же в руки свои камень, окровавленный вами, и ударьте себя! Бейте же с мощью неистовой, бейте себя по лицу, бейте! Я знаю, что такое зло ваше!

Черствость сердец ваших, закаменевших от страха, – вот это зло! Но всё думаете вы, оцениваете, рассуждаете с лицами умными – так это страх ваш, слепцы!

Защищайте же самих Себя от себя, ибо вы – страх! Право, нет у вас врага большего, чем вы сами! Бейте же себя, бейте! И умрите же наконец, мертвецы! Довольно уже вашего спиритизма!

Лица безумных – вот зеркала ваши! Смотрите же в них – таков вердикт суда вашего! Навечно укрылись безумные в мирах своих, но разве иначе поступили вы, мнимо здравствующие? И разве не от одиночества вашего холодно вам и страшно?

Но не только вам страшно, и не только вам холодно, но вам и душно еще! Так дуйте же на тлеющие угли, жарьте себя на огне медленном страха собственного! Вы так это любите! Ибо только страх свой и любите вы, но не самих Себя!

Лелеете вы страх свой, служите ему раболепно, как верные подданные, “добром” называете вы свою смерть! Кому же добро делаете вы смертью своей? Мне вы не делаете добра этим, а себе и подавно!

Только эгоист жить может, ибо не судит он, но предуготовляет Себя самого для Другого, которому и подарит он дорогое самое, что есть у него, – самого Себя, а не отбросы черствые добродетелей ваших!

И знайте же: не нужны Другому ни тлен телес ваших, ни мощи добродетельных аур, что окурены ладаном, но жаждет он жизни вашей, ибо жизнь нуждается в жизни!

Обнимите преступника – вот единственное, что ждет он от вас, вызывая гнев ваш в умах ваших. Ибо не важно, как взывает он вас о вас же Самих. Он предстал пред вами нагим, как и следует эгоисту!

Так признайте же дело, но не форму его, не содержание, ибо есть только дело! Но все у вас шиворот-навыворот, ибо зрит пустота пустоту только! Что ж вы удивляетесь его безумию? – Это ваше безумие!

Признавая страх свой, ужас свой преступая, обретаєте вы силу ног ваших. Танцуйте же теперь, танцуйте на похоронах страха вашего! И плачьте, плачьте о том, кто не может более танцевать с вами!

Плачьте о том, чья кровь, вашим страхом пролитая, не утолила голод страха вашего, но сделала его явным, а вас – способным смеяться, смеяться на похоронах страха вашего!

Я же не буду более потакать страху вашему. Но смеяться буду в лицо ему, и если это *ваше* лицо, то не я виной унижению вашему, но вы сами! Страх теперь или задушит вас, или задохнется он от моего смеха!

Я вор и преступник, я украл страх ваш смехом своим над страхом вашим! Теперь побейте меня камнями, если хотите, – вот вам мое лицо! Я не сумасшедший, я вор!

Слышите, я вор, я ваш украл страх, я преступник! Смешно вам?.. Так смейтесь же, смейтесь же надо мной! Пусть смех поглотит смех, пусть смех напитается смехом!

Не боюсь я смеха вашего, и я рад ему! Я хочу, чтобы обняли вы меня, ибо я наг и мне без вас холодно! Но не жгите меня своим страхом студеным, ибо, кроме вас Самих и желания вашего, – ничего мне не надо!

Только эгоист желает, только его желание сделает счастливым Заратустру вашего! Это зову я добром! Это добро!»

Так говорил Заратустра, когда в вагоне метро мы заприметили мальчишку, что пробегал мимо нас в переходе. По всей видимости, ему удалось уйти от преследователя, что, впрочем, не избавило мальчонку от страха.

Бледный и худой, он стоял около двери, напряженно сжимал кулачки, оглядывался и нервно сучил ножкой в разбитом ботинке.

– Пойдем, – тихо сказал Заратустра.

Мы прошли по вагону. Зар взял грязные кулачки мальчика в свои руки и сел перед ним на корточки.

– Ты меня боишься? – спросил Заратустра, глядя на малыша снизу вверх.

– Нет, – соврал мальчишка и попятился назад.

– Вот и молодец! – добродушно улыбнулся Зар. – За смелость тебе полагается мороженое. Хочешь мороженого?

– Нет, – снова соврал сорванец.

Зар рассмеялся.

– Я не знал еще такого мальчишки, который бы не хотел мороженого!

– Хочу, – тихо признался мальчик, смутился и заплакал.

Зар обнял мальчика.

– Плачь, малыш, плачь. Будет тебе мороженое, ты заслужил.

Мы сидели в кафе. Зар что-то оживленно рассказывал. Мальчик ел мороженое и, стараясь казаться взрослым, слушал наш разговор, нарочито глядя исподлобья.

– Теперь ты отдашь мне мой бумажник, – сказал Зар мальчонке, когда мы окончили нашу трапезу.

Странно, а я и не заметил, как Зар лишился бумажника. Мгновение я был занят этим новым для меня обстоятельством, а мальчик уже сорвался с места и стремглав бросился к выходу.

– Страшно? – крикнул вслед ему Заратустра, при этом лицо его оставалось спокойным, а сам он смотрел в опустевшую вазочку из-под мороженого.

Мальчишка остановился у двери кафетерия, секунду раздумывал, потом повернулся, посмотрел на Заратустру, затем на мой оторопевший взгляд, подошел к нашему столику и, насупившись (верно, чтобы сдержать слезы), молча положил бумажник на его искусственный мрамор. Заратустра достал из него деньги и засунул парнишке в карман.

– Если ты хочешь, мы можем отвести тебя в приют. Тебе ведь некуда идти?

Мальчик помедлил и в знак согласия еле заметно качнул головой. Через пару часов он уже сидел в изоляторе приюта, где я когда-то работал. Пожилая санитарка суетилась вокруг вновь поступившего малыша, причитала и охала, как она любит. Мальчик делал вид, что ему неприятна эта забота, но трудно было не заметить смущенную радость, наполнявшую его изнутри.

– Ты все еще думаешь, что страх – это дело? – спросил его Зар, когда санитарка вышла позвать дежурного врача для профилактического осмотра.

– Нет, – тихо, но уверенно ответил малыш.

– Вот и хорошо. Ничего не бойся.

Они обнялись и смеялись потом, глядя друг другу в глаза, а я почувствовал, что глаза мои намокли, но мне не было совестно – это не сентиментальность, это радость.

О чтении и письме

Заратустра удобно расположился на диване и сосредоточенно читал мои пьесы, по моему, «Леонардо» с подзаголовком «Осмыслить боль, или проповедь молчания».

– Слушай, какие хорошие притчи! – воскликнул Зар, когда я появился в дверях комнаты с двумя чашками кофе.

– Правда?.. – на мгновение я смутился.

– Точно!

Тут мне показалось, что он не знает, что это *мои* пьесы, я насторожился, но потом и это прошло. В конце концов, какая разница, чьи?

– Зар, только это не притчи, а пьесы.

– Всякий текст – притча. А как иначе? Текст – это вечная загадка. Один написал, другой прочел: что было написано – то, что первый писал, или то, что второй прочел? – он рассмеялся.

Мы пили кофе, Заратустра говорил, говорил протяжно, задумчиво, не так, как прежде: «Слова высказывания лгут и путаются, слова перемешиваются с иными темами и контекстами, темы семят, сменяя друг друга.

Речь – это хаос из упорядоченных слов. Понимающий обращается к тексту. Текст – это завершенная в самой себе мысль, завершенная, а потому переставшая быть мыслью. Она была потоком, куда стекались тысячи рек, но теперь она стала пространством.

Мысль – вот он, сэр “Невидимка”, вот он, мистер “X”, господин “Zero”. Захочешь, так не поймашь! А не поймашь, значит и не передашь, а не передашь, так кто ж тебе поверит? Кто согласится: “Да, – мол, – мысль это, есть такая”, – кто?

Мыслью вы считаете то, что считаете мыслью, но как вы принимаете это решение? Одно имя у мысли вашей – профанация. Ощущение – вот где правда, вот что подлинно *есть*. “Всамделишные” они, этого не отнять – факт!

Но скажите мне, что можно передать ощущение, и я рассмеюсь вам в лицо. Не передаче, но созданию ощущения – вот чему служит текст.

Ощущения наши – валюта неконвертируемая, действительны они лишь на нашей же “территории” и нигде более. Оказавшись за пределами нашими, неизбежно падение их котировок.

Знает об этом эгоист и не требует от других, чтобы те понимали слова его, ибо не могут они понять. Он пишет себя, пишет, словно поет длинную песнь. Ибо знает эгоист, что это его счастье.

Не ждет он любви к себе за свой труд, выполненный якобы для другого, ибо сделан он для самого Себя. Ведь не ждете же вы аплодисментов за то, что едите, когда вам хочется есть.

Всё, что делаем мы, мы делаем для себя, но только эгоист знает и чтит эту истину. Любящий любит, и только, в этом всё...

Желающий говорить должен уметь хотя бы молчать. Но является ли проповедь молчания проповедью ощущения? Молчание слишком родственно небытию, слишком. В небытие-то вы успеете все, но сможете ли вы быть?

Вот почему должны вы знать, что ощущение ваше девальвируется в пересказе, в выражении, в простом обретении имени собственного. Знать и не пытаться переступить жизнь, а породить ощущение – действием.

Ощущение репрессировано вашим разумом. И не доверяете вы теперь ощущениям собственным, проверяете их на “благонадежность”, страшно быть вам в окружении, ибо вечно мните вы себя на войне.

Нужно вам “понимать”, “знать”, “составлять мнение”, а также “иметь суждение” – и все это через разум, и все – через смерть, и потому все это – безумие ваше, которого не понимаете вы, безумными будучи.

Чтобы позволить себе ощущать, нужно вам провести ощущение через чистилище разума своего. Но что в разуме вашем, кроме соглядатаев страха? Оно умрет там, ощущение ваше.

Да, не всякое ощущение выдержит испытание это, лучшее-то и не выдержит, ибо где тонко – там, как известно, и рвется. Что останется от ощущения вашего после экзекуции этой?..

Обидно терять самое дорогое, а что может быть ощущений дороже, которые и открывают нам существо жизни нашей? Но нет, ощущения ваши разумом интерпретируются, обретая форму понятийную, которая для них – гроб.

Когда же выражаете вы ощущения ваши, в катафалк слов уложенные, для другого, он интерпретирует интерпретации ваши. Преломляясь в стакане, луч искажается и редко когда становится радугой, а ведь он – радуга!

Знаете вы, что слово врет, но “на безрыбье и рак – рыба”, – так говорите вы. Вот достойный пример разумного безумия! Любому студенту-биологу поставили бы за подмену такую двойку жирную и были бы правы!

Но и молчание пусто, и мысль – лишь оболочка одна, и ощущение несказуемо... Текст, текст-притча – вот, что будоражит существо эгоиста, того, кто способен не навязывать, а сообщать.

В речи, в процессе высказывания непосредственного не угадаешь систему, структура его хаотична, дискретна, не имеет она целостности и отсылает слушающего к контекстам говорящего, а их не знает никто, и потому в бездне этой не утонет лишь отчаянная бессмыслица.

“Слушатель” притчи улавливает связи внутренние, что организуют текст, лишь потом дешифрует он коды и лишь после постигает само сообщение. Однако же не сообщение это Другого, но сообщение его: “Я – Другой”.

Текст являет систему собой, и если коды его не ясны, то связи его всегда безусловны, они-то и позволяют увидеть мне теряющееся в хаосе говорения. Другой мир открывается взору моему, мир потерянный, мир непонятный – текст сообщает мне Другого инаковость, я заморожен, ибо Другой – алтарь моего счастья.

Так я вижу загадку и тайну Другого, так открывается мне мистерия Его уникальности – непонятностью для меня. И если прежде все мне было понятно, то лишь потому, что был я один, ибо могу я понять только свое и, понимая, творю свое одиночество.

Теперь же покровы одиночества сброшены, ибо я – Другой, а потому – тайна, тайна, которая соприкоснуться может лишь с тайной, тайной Другого, Его тайну ищу. Сокрытость текста Другого – свидетельство тайны. Тайна к тайне – тайна Двоих, этого жажду!

“Не разгадывать тайну, но наслаждаться ею!” – вот девиз эгоиста. Нет мне возможности сообщить самого Себя. Не велика же потеря, ведь я не раб, выставленный на продажу. Зато Собою самим быть я могу, и быть Им могу для Другого. Я для него – тайна, пусть наслаждается мною, ибо не хочу я его одиночества!

Я хочу тайны, где целостность становится центром, притча – зерном, а сущность – смыслом. Притча – зерно это, которому суждено пасть в землю Другого. Здесь зерно мое напитается силами Другого, здесь воплотится оно в стволе и кроне ветвистой нового древа. Моя сущность станет сущностью Другого благодаря притче.

Знай же, что эгоист порождает не пьесы, но притчи. Не играет он в прежние игры, не со своими другими говорит он в тексте своем, но говорит он с собою-Другим. Не в слова

он играет, ибо нет ему дела до игр смерти, а танцует, презрев свой страх быть непонятым, пишет он самого Себя.

Но притча – это мост с одной опорой, и знает об этом эгоист.

Капля росы на бутоне розы – слеза счастья, упавшая на трещину вечности. Безумие ощущения – это здравый смысл самой жизни. Бабочки и мыльные пузыри – счастье, свободное от пут разума.

Танцующее божество – это ликующее ощущение Другого, в унисон бьющееся сердце Того, Кому посвящена великая притча Другого. Притча – близость, и пусть останется она тайной».

Так говорил Заратустра, и я ощущал эту притчу, я ощущал, возможно, первый раз в жизни, Другого, я ликовал.

Но что прочтет мой читатель? Слова ли? Мысли? Может быть, чувства мои угадает он в убористых строках? Нет, не себя Самого я показываю ему, но Его Себе. Его я вижу за каждым словом, за каждой запятой и многоточием, его – Неизвестного.

Если он увидит Себя самого в моей притче, если он поймет, что только он и является автором того, что читает, тогда будет он эгоистом. Из ожидающего он превратится в живущего, из требующего – в обретающего.

Для кого я пишу мои тексты, если не для Себя самого? Так чего же я жду? Чего требую? Нет, нужно быть эгоистом. Но что это – «быть эгоистом»?

Вот о чем я молча вопрошал Заратустру этим вечером, понимая, что спроси я об этом вслух, то могу рассчитывать лишь на простой подзатыльник в ответ, подзатыльник, которым Мастер Дзен обучает своего ученика, спрашивающего: «Что есть сущность Дзен?»

Учитель обращает ученика внутрь его Самого. Учитель заставляет ученика быть эгоистом, чтобы сделать его Учителем – человеком, обретшим способность обретать.

О дереве на горе

Один из моих близких друзей, мой тезка, кстати сказать, был некогда большим любителем ницшеанского «Заратустры». Для преодоления «экзистенциального кризиса» лет пять тому назад я предложил ему Ницше. Но когда в сердце не горе, а горечь, то великий немец может только усилить подобного рода «кризис», этого я тогда еще не знал.

Когда человек читает Ницше, полагая, что он соавтор его трудов, а не респондент, когда читатель не понимает, что именно его, своего читателя, причисляет Ницше к «лицемерам» и «блеющему стаду», именно на него, на читателя, обрушивает он свой гневный рокот, когда читатель не переписывает Ницше своим прочтением, а думает, что водил его пером в момент написания автором текста, он, этот читатель, как это ни печально, с лихвой подтверждает обличительный пафос ницшеанских строк.

Ницше, как я погляжу, почти всегда достигает своей цели: он хотел посмеяться над человеком, теперь у него есть все основания... Вот почему Ницше несчастен и одинок, не ощущать Другого хотел великий немец, но доказать себе инаковость свою отрицанием. Да, задачка ему удалась, он себя отрек. Но стоило ли тратить на это жизнь?

Ницше – это дерево на горе, одинокое дерево. Много таких гор, много таких деревьев в мире, где каждый только хочет быть, но никто не является тем, что он есть. Холодно в таком мире и душно. «Эгофилами» зовет Заратустра таких «сторонящихся людей».

Мы повстречались в парке, я представил Андрюшке Зара, Андрей посмеялся, «разгадав розыгрыш». Он посмеялся, и мы посмеялись.

– «Если бы я захотел раскатать это дерево своими руками, – Андрей, улыбаясь, цитировал по памяти ницшеанского “Заратустру”, опершись руками о вековой дуб, – то я был бы не в состоянии сделать этого. Но ветер, – тут Андрей стал серьезен, – которого мы не видим, – ветер терзает и нагибает его, куда хочет. Всего хуже пригибают и терзают нас невидимые руки».

– Не ветер, но ты сам терзаешь себя, – тихо сказал Заратустра, пристально глядя в серые глаза своего собеседника. – Чего же ты испугался? – его голос был добор и чуток. – Чем больше ты думаешь о себе, тем дальше ты от Себя самого. Пока ты не ты, но желающий быть таким, каким хочешь ты быть. Два «Я» заключены в тебе: желаемое и желающее, но ни одним из них ты не являешься. Когда же «Я» твои соединятся, они уничтожат друг друга, и ты будешь ты – тем, что останется, тем, что нельзя уничтожить, не умерев.

– Метафизика... – протянул Андрей.

– Жизнь, – ответил ему Заратустра.

– И ты знаешь, *как?* – испытующе прозвучали эти слова.

– *Ты* знаешь, – с обычной своей нежностью и прямоотой ответил ему Заратустра, обнял вековое дерево, искупал свой взор в его ветвистой кроне, посмотрел на нас и улыбнулся.

«Как сокрушаетесь вы о своем одиночестве! – говорил Заратустра во время нашей прогулки. – Как судите вы свое одиночество, как проклинаете вы проклятье его! Но как же вы любите его! Как холите вы тщедушное тело его, как ласкаете вы его мощеподобную плоть, как ублажаете безумные его помыслы!»

Всё вы делаете своего одиночества ради, и ничего не делаете вы для самих Себя. Вот почему не эгоисты вы, а нищие духом. Рассчитывающие на подать не рассчитывают на самих Себя, будь иначе, я отдал бы им все.

“Я одинок”, – говорите вы. “Ты не ощущаешь самого Себя”, – отвечаю я. “Я буду еще более одинок”, – возразите вы. “Ты не пробовал”, – отвечу я.

Одиночество – просто слово, и только, а значение его пусто. В одиноком же целый хор голосов, человек должен быть одинок в себе Самом и для себя Самого – вот что вырвет его из путаницы слов.

Тот, кто умеет молчать в самом Себе, тот услышит многих, ибо вокруг Другие. Человек должен уметь быть один, чтобы знать разницу между одним и стенающим в одиночестве. Первый существует секунду, второй – вечность мучительную, полный ужаса.

Вы думаете, что знаете одиночество? Это неправда. Вы не знаете его! То, что зовете вы одиночеством, – лишь страх и амбиции несчастного, души не чающего в самом себе. Это называю я “эгофилией”!

Не одиноки вы, пестующие свое мнимое одиночество, ибо вечно вы сами с собой, вы, обрученные со своею тенью: каждой твари по паре! Нет в вас места Другому, только множество “Я” ваших в вас квартирует.

Здесь, на этой сцене, разворачиваются ваши “трагедии”, здесь место “драмы” вашей, здесь ожидаете вы свою публику, которая, надеется вы, придет оценить блистательную игру вашу и тем избавит вас от “одиночества” вашего. Но как же того лишит одиночества, кто не одинок, а слеп?

В слепоте вашей рождаются тени. “Зло” и “добро” – вот две тени двух “Я” ваших. Ими мерите вы мир ваш, они собой различают “добро” и “зло” ваше, их борьба – это ваша борьба, их игра – это ваша игра. Но не вы то играете, а они – вами. Вы не видите мира, вы, как Нарцисс, упиваетесь изображением собственным в себе самом, полагая, что это и есть Мир.

Но для кого же театр ваш? И кто ж не знает из вас театральных подмостков? Актер не потому чужую игру смотрит, что хочет он насладиться ею, а потому лишь, что хочет он оценить, и оценить низко. Чего же вы жаждете: оценки или наслаждения, что сочтется меж вами Самими и Другим, кто для вас дорог? Так чего ж вы играете?

Будете вы играть – и будут оценивать вас, если же будете ощущать – тогда и будете жить. Но как же вам не играть, актеры и драматурги?! Ведь нет вас! Лишь маски сменяют друг друга в театре вашем, режиссеры смерти! Не живете вы, и должны жизнь имитировать. Не могу я даже сочувствовать вам, играющие в смерть, если бы и хотел.

Вы одиноки? Да! Но знаете ли вы одиночество? Нет!

Тот, кто ищет для себя лучшей доли, безумнее любого безумца. Не может быть доли лучше, чем она есть, ибо другой нет, а то, чего нет, не может быть лучше. Чего же вы ищете? На что надеетесь?

Кому предназначаете вы страсть вашу? Кого благодетельствовали вы любовью своею? Знайте же, что чем больше сострадаете вы себе, чем выше себя вы цените – тем более вы страдаете, тем ниже себя вы ставите. Что теперь прыжки ваши, упавшие в яму?

Когда же упрекают вас в тяге к одиночеству вашему, в том, что заняты вы только собой и только о себе думаете, говорите вы, что “благородный всем стоит поперек дороги”. Не странно ли, что, когда зовут вас (а зовут они, как умеют), зовут к общности, поднимаете вверх вы знамена одиночества вашего? Не странно, но глупо, ибо печально.

Неужели считаете вы общность одиночества хуже? Может быть, я не знаю... Но зачем тогда тяготитесь вы одиночеством вашим? Чего на самом-то деле хотите вы, коли так? Создать хотите вы добродетель новую? Так ведь это все равно, лишь добродетель одна и только. Какая разница, какова она?

Неважно, каким станете вы с вашей добродетелью “новой” – язвительным, насмешником и разрушителем или добрым и сострадательным. Если вы не ощущаете самих Себя, все это не имеет значения. А если ощущаете вы самих Себя, то на что добродетель вам? Добродушного пса не водят в наморднике.

Зачем вы стремитесь к возвышенности? Зачем пестуете вы свои идеалы? Думаете, что так любезны вы другим будете? Но ведь даже не смешно это, фантазеры. Ибо стараниями своими вы других обвиняете в приземленности! Чьей же похвалы ожидаете вы, идеальные?

Играли вы в прятки сами с собой, теперь потерялись и не найдены. Хороша же “возвышенность” ваша, она напоминает мне виселицу! И вы еще оступиться боитесь! Ужас! Вам надобно падать, падать, причем не раздумывая!

Не упасть с Олимпа идеализма вашего – вот что должно пугать вас, одинокие понарошку! На небесах ваших зябко и ноги стыннут, а сердце бьется лишь символически».

Тут Заратустра остановился, чуть приспустился к берегу озера, оставив нас позади, и дальше говорил, не смотря в нашу сторону:

– Кругом тебя люди, Андрей, все они, как и ты, хотят близости, так чего же ты ищешь? Нет, ты совсем потерялся... Близость ждать просто смешно, в близости нужно быть. А свои «идеалы высокие» и «слепые надежды» подай нищим, они это дело любят.

Или надейся, или будь – другого нет, это твоя жизнь. Только, выбрав надежду, не причитай, а живя – живи, и без дураков. И сними же, наконец, намордник своей добродетели, у тебя же красивое лицо, я-то знаю!

Что ты пытаешься скрыть, кроме своего страха? Кто пытается скрывать, если не твой страх? Ну ни глупо ли? Я же только страх-то и вижу! Вот тоже, водит сам себя за нос, а отпустить боится! Если бы ты знал, как мне обидно, – добавил он тихо, – ведь не с мечом же пришел я, в конце-то концов...

– Над этим нужно поразмыслить, – сухо брякнул Андрей и пошел дальше.

А я испугался, я подумал, что Заратустра не поймет, что я понял, что он говорил со мной, но я почему-то не дал ему понять, что понял это.

Потом я посмотрел на Андрея и испугался, что сказанное Заратустрой утонет в его интерпретациях. Заратустру можно принимать только целиком или не принимать вовсе.

Спорить с Заратустрой, дискутировать – значит, оправдываться, отстаивая свою горечь, полагая, что в ней-то, в горечи твоей, и сокрыто все твое счастье, твое добро.

А принимать Заратустру – значит, сейчас, немедля и не раздумывая, делать все, что он говорит; отложив на секунду, можно уже не возвращаться: то, что есть сегодня, – того завтра не будет.

Но потом я смотрел, как оживленно беседуют мои спутники о «саркофагах», что стали расти, как грибы после дождя, по берегам Суздальских озер, и мне стало совсем одиноко.

Я был испуган, Зар наконец сказал мне нечто, что я совсем не ожидал услышать. Этим он пошатнул мою твердолобость, и на сей раз, мне кажется, основательно.

Теперь я понимаю, что он все время говорит об одном и том же, используя все возможности, чтобы пробиться ко мне, достучаться до меня Самого.

«Я думаю, что я его принимаю, я так чувствую, хотя это не так, поэтому трудно ему до меня достучаться. Что-то я делаю не так... Но что?» – так думал я о Заратустре, когда мы расставались с Андреем.

По дороге домой Зар словно бы невзначай обронил следующее:

– Как странно, что вы так мучаетесь одиночеством, так страдаете, так жаждете Другого, а Другого не видите! Это «Я» виновато, надежды его и амбиции. А вот можете ли вы без «Я» прожить? Я знаю, что да. Но как сказать мне об этом тому, у кого уши заткнуты страхом?

Мы вернулись домой, я все записал, а теперь думаю: боюсь ли я еще? А если да, то чего? Об этом нелепо спрашивать Заратустру, об этом мне следовало спросить у самого Себя. Я спрашиваю...

О проповедниках смерти

Я вернулся домой после работы. Заратустра уже ждал меня, он приготовил чудесный ужин и сейчас развлекался обстоятельной беседой с моей дворняжкой, поддерживая ее животный интерес к их мнимой дискуссии кусочками колбасы.

– Ах ты, морда полосатая! Да! Вот так!.. Молодец! Дай лапу! Вот хорошо! Хорошая собака! Иди хозяина встречай, давай!

Пес метнулся ко мне, твякнул, ткнул меня лапой и быстро вернулся к Зару.

– Ладно, вот последний, – сказал Заратустра, любуясь той неутолимой жаждой, с которой моя псина схватила на лету колбасную шкурку.

– Мы не в духе? – поинтересовался Зар.

– Устал я... Какой-то бег по кругу... Всё без толку.

– Работа не ладится?

– Пациенты не ладятся! Мне кажется, что они вовсе и не хотят лечиться, а просто морочат мне голову! Или, может быть, я совсем ничего не понимаю и требую от них невозможного? Но я-то знаю, что это возможно!

Заратустра молчал.

– Зар, но у них ведь одна жизнь, одна! А они проводят ее в слезах и причитаниях! Они сетуют, осуждают, оценивают, ноют. Они рассчитывают на то, что все как-то само собой разрешится и делать ничего не придется. Они лелеют мечты, которым просто не суждено сбыться: они хотят другого мира, других людей, другой жизни, наконец. Но они себя-других не хотят! А как же иначе-то, если такими, как они есть, только на кладбище и можно рассчитывать! Жить такими просто нельзя! Не получится, не может получиться, «девятнадцать пополам, кажется, не делится!» А я все хожу на эту работу, говорю с глухими, рассчитываю на бессильных, подставляю плечо лежащимся. Может, я дурак круглый? А?.. Ну что ты молчишь? Зачем я работаю, зачем?..

Я сидел на стуле, понурый, сердитый, расстроенный сверх всякой меры. Зар подошел ко мне, сел на корточки, посмотрел мне в глаза и со своей растапливающей любую скоробь улыбкой произнес:

– Ты знаешь, *зачем*.

Я смущенно улыбнулся в ответ. В моем «канатном» репертуаре есть способ, который я использую для того, чтобы показать человеку, есть ли смысл в том, что он делает, или же его нет. Для это нужно только одно: чтобы он сам Себя спросил: «Зачем?» Если, спросив самого Себя: «Зачем?», он чувствует, что все его существо озаряется светом, нежится теплом, то более мне не придется «мотивировать» его жить *по-человечески*: делать и радоваться. А если он наталкивается на пустоту, на абсолютную безответность, то сам совершенно явственно осознает, какая отчаянная бессмыслица все его страхи, сомнения и страдания.

– А если бы все они были просветленными, разве бы ты смог ходить на работу? – улыбаясь прищуренным глазом, спросил Заратустра.

Какой он все-таки великий хитрец!

– Я, наверное, ищу благодарности, да? А ведь мне надо... – я посмотрел на Заратустру исподлобья.

– Смешон музыкант, который недоволен своей публикой. Он ведь исполнял музыку, а не публику. Он с равным успехом может упрекнуть погоду в том, что она «не так» отреагировала на его «божественное исполнение». Понятно? А теперь – рыба под майонезом. Предупреждаю, погода тут ни при чем! Тебе понравится... – Господи, он снова расхохотался!

Рыба действительно оказалась выше всяких похвал, но, признаться, это не слишком меня радовало. После ужина Заратустра говорил так:

«Вы не умеете хотеть. Возможно хотеть только возможное. Вы же хотеть пытаетесь то, чего быть не может. Так знайте же, что не хотите вы, но юридствуете! Ушли вы от курса вашего, пустили корабль свой по ветрам иллюзии на остров необитаемый, где царствуют миражи!

Желание – не надежда, но желание только. Не хотите вы невозможного, и только кажется вам, что вы хотите его, на самом деле – вы о нем лишь страдаете. А не хотите страдать – не выдумывайте!

Нет смерти, нежелание – вот что такое конец. А желание – сама жизнь. И боретесь вы не с желанием своим, которое толком даже не чувствуете, войны страха, но боретесь вы с самой своей жизнью!

Говорите вы, что страдание ваше – это желание, не нашедшее себе удовольствия. Даже если оно и так, то разве же лучше его отсутствие? Как прожить без желания, если желание – жизнь? Избегание ваше – вот это смерть, остальное же только кажется ею.

Почему думаете вы о неудовлетворенности желания вашего прежде, чем успели вы захотеть?

Разве не глупо спрашивать: “Зачем не хотеть?” А если спрошу я вас: “Зачем хотеть?” Что, если сами Себя вы так спросите? Разве же не чувствуете вы свет, отвечая, свет, идущий от вас, свет изнутри, вовне идущий? Свет этот – и есть желание ваше!

Способно мертвых разбудить желание ваше, но не этого следует желать вам, но самих Себя. Мертвец, что пытается воскресить труп, пляску перепутал с танцем, безумие – с красотой.

Думаете вы о том, что будет потом, но не знаете вы, что сейчас есть. Неужели не видите вы, что не будет вам завтра, если у вас нет сегодня? Взываєте вы к благоразумию, к завтра взываете. А кто ж будет жить, мечтатели?!

Если жизнь ваша – приготовление к смерти, то это не жизнь уже, вы готовы! Считаете вы смерть венцом жизни вашей, я же дивлюсь: как умудряетесь вы на живое надеть мертвое, модельеры смерти?

Говорите вы, что не можете радоваться мелочам. И я тоже не радуюсь мелочам, но что вы называете мелочью? Благоразумие ваше, что сродни безумию, – это называю я мелочью! Завтра ваше, которого нет еще, – это также зову я мелочью! Вчера, которого нет уже, – это считаю я мелочью! И суета ваша, амбиции, страхи, иллюзии – все это братия мелочная. Так думаю я, Заратустра, но что вы называете мелочью? Солнце ли, радость Другого, жизнь свою – это?!

Но не требую я от вас, чтобы думали вы так, как я думаю. Я хочу, чтобы вы думали так, как не можете вы не думать! Я хочу вас Самих!

“Я не требую, я хочу”, – так говорит эгоист. Если же вы посмеетесь над ним, если скажете вы ему, что он не получил того, чего хотел, он ответит вам: “Я не хотел, я хочу!”

Если же скажете вы ему, что остался он с носом, он скажет вам: “Это мой нос, и я не хочу вашего!” Не проповедую я, но живу, и хочу я, но не надеюсь!

Результат – это фантазии, выдумка; нет результата “завтра”, но каждый миг сейчас – это уже результат. Чего же ждете вы? Зачем «сейчас» вы выдумываете, разве же нет его? Куда ж оно делось? Или вам мало его, или вы не хотите?

Зачем столько вы говорите о времени? Где вы видели время? Вы подобны всаднику ловкому, что сам себя оседлал! Время – плеть. Ну что ж, спешите, скопцы! Спешите, а то опоздаете!

Смотрите, смотрите, сколько торопится трупов! Поспешите, а то опоздаете, не достанется вам могилы, займут ваше место на кладбище! Да, Бог ваш – это страх ваш. Не удивляюсь я, что Его не ощущаете вы, слишком уж Он велик, даже для вас!

Если рождаете вы с тем, чтобы было кому хоронить вас, то не рождаете вы, а хороните. Если же жертвуете вы собой, то, значит, других держите вы за людоедов. Мне же не нужна жертва ваша, а хочу я радости вашей. Да вот кажется только, что вы ее не хотите! Чего ж мне теперь сокрушаться?

Вы или хотите действительно, или умерли. Мертвым я пою песни, благо, они не слышат. Но танцую я только живым! Знайте же это! Я так хочу, это моя жизнь!

Если же вы утомлены жизнью – вы не хотите. Так не смертью ли утомлены души ваши? Утомленные жизнью проповедуют смерть? – Так ведь они и не знают иного!

Думающие о вечном не могут ни жить, ни радовать. Они не хотят, они “хотели бы”, не живут они и не радуют. Что сокрушаться о них? Не мое это дело!

А возможность всегда открыта, нужно просто хотеть, зрение же к желанью приложится. Вам нужно, а я хочу!

Нет закрытых дверей для желающего, ибо он хочет войти, но не того, чтобы вы ему отперли! Какое ему до вас дело, если вам до самих Себя дела нет!»

Так говорил Заратустра, а я вспоминал всех моих дорогих невротиков. Я невротик... Интересно, кто-то слышит мой смех?..

О войне и воинах

Иногда коллеги расстраивают меня больше моих пациентов. Нет, даже чаще.

– Ну что ты?.. – протянул Зар. – Пустое.

– Знаешь, когда младшая обезьянка изобретает новый способ доставать банан, у нее отбирают добычу. Когда старшая обезьяна изобретает новый способ доставать банан, то у нее учатся. Мы не так-то далеко ушли от приматов! Есть, правда, одно отличие: наши «бананы» нельзя отобрать, они сгниют раньше, чем кто-либо успеет их съесть, отобрав.

«Не мечтайте о великом, будьте великими, – говорил Заратустра. – Зачем воевать вам, если и без войны можно быть победителем?»

Не воюйте ни с собой, ни с другими – любой исход только смерть означает. К чему война вам, где не может быть победителя?

Не воюйте с незнанием, ибо на какую победу можете вы рассчитывать? Кого хотите вы в плен взять, чем поживиться?

И со знанием не воюйте, познание – не война, но страдание! Воюя, разрушаете вы и отрицаете, а познание действительное – это признание. Лучший результат отрицания – ноль, но что это за победа?

Признайте же поражение свое, несумевшие, этим дадите слово вы знанию. И знание не учите, но разрешите ему говорить, тогда сможете вы слышать.

Когда же говорите вы сами, то того не услышите, что хотите услышать. Что делаете вы, солдаты речи? Хороший солдат – мертвый солдат. Вы хорошие солдаты!

Воины лучше солдат, ибо отрицают воины сами себя, так что нет, по крайней мере, двусмысленности, впрочем, оттого-то они и глухи, ибо всякая война – сердце контузия.

Не ищите врагов ваших, ибо враги всегда глухи. Но и глухой враг лучше исполнительного солдата, поэтому не ищите вы и солдат.

Война – это безумие мира. Не лечите мир от безумия, но не заражайте его своей злобой. Ненависть слепа, познающие, неужели же не жалко вам глаз ваших?

Великий не воюет, великий обладает, а обладать может он, лишь не притязая. Обладать, не имея, – вот в чем секрет познавшего.

Не имеющий – не потеряет, а потому нечего страшиться ему, таков обладатель истинный. А имеющий уже потерял, ибо остановил он то, что живет лишь в движении.

Обладать – не значит иметь, обладать – значит не бояться. Как можете обладать вы миром, когда мир обладает вами? Что ж нет в вас силы признать принадлежность ваше?

Только принадлежащий и обладает действительно, ибо лишь он не боится потери, ибо не требует, но принадлежит. Нечего терять свободному, только страшщийся и боится!

Рыцари скупые, очнитесь же, ваши ларцы прохудились!

Предоставьте маленьким мальчикам говорить: “Я смогу!” Говорите: “Я смог!” Но помните, что хороша лишь та храбрость, что не боится утраты.

Обладателя я люблю, что знает стыдливость своей сердечности, ибо он не покушается.

Обладателя я люблю, что знает сердечность своей стыдливости, ибо он не противится.

Но если вы сами себя боитесь, разве же я не буду пугаться вас? Безумие пугает! Зачем вы боитесь? Страх, лишь страх защитить может, и только!

Дурно не то, что вы скрываете, дурно то, что *скрываете* вы. Ибо низка возвышенность всякая, если она ложна.

Знающий не заносчив, знающий злобы не знает, ибо знает он, что ее нет, но есть только страх. Знающий не боится, он знает.

Гордый убеждает меня в своей силе, но я убеждаюсь лишь в его страхе. Он обманывает самого Себя!

У знающего нет врагов. “Каждому свое”, – говорит он, говорит, но тем не приговаривает.

Бунт – это слабость рабов, это слабость страшащихся, что бессильны признать свое рабство. Бунт – это доказательство рабства и утверждение страха.

Если признает раб рабство свое, он освободится от страха и не будет рабом более. Ибо нет и не будет свободы иной, кроме свободы от страха!

Нечего терять рабу, кроме своего страха. Так против кого ж бунтует он, если не против самого Себя?

Заткните же уши свои, когда говорит кто-то в вас: “Ты должен!” Слушайте свое: “Я хочу!”, ибо это говорите вы Сами.

“Ты должен!” – таковы слова страха вашего, ибо вам страшно платить. Но кто же вынуждает вас покупать?

“Я хочу!” – говорите вы Сами. Но прислушайтесь! – не страх ли подобрался к вам так, шепча гипнотически: “Должен!”

Не надейтесь, что сделают нечто для вас. Ибо большего, чем вы Сами, никто вам не сделает. Так зачем вы размениваете золото на черепки глиняные?

Будьте же эгоистами, ибо слабыми вы никому не нужны! Так что делайте для самих Себя, если думаете о Других!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.